

**Российская академия наук  
Институт славяноведения**

**ЭВОЛЮЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ СЛАВЯН**

**XIV-XVIII вв.**

**Москва  
1999**

**Российская академия наук  
Институт славяноведения**

**ЭВОЛЮЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ  
МЫСЛИ СЛАВЯН**

**XIV–XVIII вв.**

**Москва**  
**1999**

**Рецензенты:**

доктор филологических наук  
Горшкова К. В.,

доктор филологических наук  
Успенский Б. А.

**Научный редактор**

кандидат филологических наук  
Запольская Н. Н.

ISBN 5-86208-021-X

© Институт славяноведения РАН, 1999

## Предисловие

Настоящий сборник посвящён истории грамматических учений в славянском мире. Грамматические сочинения славянского Средневековья и эпохи становления литературных языков нового типа в течение последних десятилетий привлекают всё большее внимание филологов, и это неудивительно: подобные источники дают уникальную возможность одновременно изучать как язык эпохи, так и её языковые представления, пропуская их через сетку современного научного анализа. Реконструкция литературного языка приобретает таким образом многомерность, что даёт больше возможностей для создания адекватной модели его развития.

Представленные в сборнике исследования охватывают обширный период с конца XIV до середины XVIII столетия. Подавляющее большинство источников, рассматриваемых в сборнике, — переводы или лингвистические проекты, в значительной степени ориентированные на инокультурный образец. Это обстоятельство делает очевидным тот факт, что история грамматической мысли, о которой идёт речь в нашем сборнике — это, прежде всего, история диалога и взаимодействия. Действительно, мы стремимся охарактеризовать в целом ряде аспектов сложный и многообразный процесс языкового и культурного взаимодействия, в который вовлечены грамматические представления различных социумов, принадлежащих к мирам *Slavia Ortodoxa*, *Slavia Latina*, различным западноевропейским традициям.

Очевидно, что попытка представить некоторую общую модель развития грамматической мысли в столь обширной временной и географической перспективе, сопряжена с определённым риском. Однако грамматические сочинения и тексты, в которых предлагаются собственные языковые проекты их создателей, оказываются весьма благодарным материалом для решения подобной задачи. Общая модель находит естественную опору в том, насколько отчетливо создатели этих текстов демонстрируют свою принадлежность к целостной традиции. Независимо от того, имеет ли место обращение к авторитету предшественника или борьба с этим авторитетом, ориентация на «свой» или инокультурный образец, грамматическое сочинение всегда рассчитано на перспективу более длительную, чем непосредственное время его создания. Автор такого сочинения в некотором смысле ощущает себя принадлежащим Большому Времени. Реконструкция единой традиции

может, таким образом, отталкиваться от реконструкции языкового сознания ее творцов.

При таком подходе оказывается очень важным выбор научного объекта — выбор значимого источника. Мы стремились анализировать тексты, находящиеся в узловых точках развития славянской грамматической традиции, но до сих пор не получавшие адекватной научной интерпретации. Анализ этих текстов, вовлеченных в сложные диахронические связи, позволяет осветить не только тот узкий хронологический срез, когда они были созданы, но и более глубокую, ретроспективную или перспективную, картину развития литературного языка в *Pax Slavia*, а иногда и за его пределами. Так, работа Б. М. Никольского, посвященная самому раннему из известных славянских грамматических сочинений — трактату «О восьми частях слова» дает неожиданную возможность по-новому взглянуть на структуру значительно более ранней византийской филологической традиции. Статья И. В. Платоновой не только вводит текст Геннадиевской Библии (1499) в широкий контекст западноевропейской переводческой культуры, но и устанавливает характер взаимоотношений этого текста с текстом Острожской Библии (1581) и восточнославянской библейской переводческой традицией в целом. В исследовании М. Г. Обижаевой, посвященном деятельности Ю. Крижаница, представлен ранний прообраз петровской культурно-языковой реформы, который, в свою очередь, восходит к языковым программам итальянских гуманистов. В статье Ю. В. Кагарлицкого и А. Ф. Литвиной показано, как предвосхищению языковой программы Н. М. Карамзина в воззрениях В. Е. Адодурова и В. К. Тредиаковского соответствует предвосхищение некоторых аспектов этой языковой программы в текстах первой трети XVIII в., написанных на «простом» языке.

Каждое из исследований, представленных в статьях настоящего сборника, сконцентрировано вокруг отдельного значимого источника или компактной группы источников. Такой принцип позволяет, рассматривая данный текст в возможно более широком культурно-языковом контексте, выбрать в каждом случае языковой уровень и исследовательскую технику, выявляющую место текста в истории литературного языка. Так, метод структурно-функционального анализа, используемый в статьях Н. Н. Запольской, Е. А. Кузьминой и И. В. Платоновой описывается в первую очередь на состав и структуру грамматических категорий, представленных в грамматиках и библейских переводах, что позволяет увидеть в этих текстах не коллекцию ошибок и случайных заимствований, а результат осознанной стратегии. Оказывается возможным охарактеризовать тип этой стратегии, механизм ее реализации в языковой практике, а также механизм восприятия такого текста в социумах с разной культурной ориентацией.

В соответствии с основными направлениями исследований сборник разбит на три раздела. Первый посвящен рассмотрению грамматических трактатов и лингвистических проектах, относящихся к периоду с конца XIV до середины XVII века. В работах этого раздела рассматри-

ваются различные модели межъязыковой рефлексии как средство кодификации «своего» литературного языка — церковнославянского или «простого». Наряду с механизмом порождения грамматического текста, исследуется и другой, не менее важный, хотя и менее изученный аспект проблемы, — модель восприятия этого текста как в той среде, где он был создан, так и в социуме с иными культурными установками.

Во втором разделе сборника описываются модели осмысления и представления кодифицированных норм в авторитетных текстах: Геннадиевской Библии, Библии Франциска Скорины, Псалтыри Авраамия Фирсова. В центре исследовательского внимания здесь оказываются пути осмысления «своего» языка в лингвистических координатах «чужого». Здесь особый интерес представляет возможность реконструкции тех принципов, которые использовались при создании исследуемых текстов. Иными словами, предметом исследования становится обдуманная, отрефлектированная практика языковой деятельности, осознанное применение разработанных книжником определенных лингвистических критерий.

Третий, заключительный раздел посвящен формированию языка нового типа в России XVIII столетия. Это столетие замыкает собой рассматриваемый нами исторический период, поскольку на протяжении его происходит смена типа культуры. Новый литературный язык в эту эпоху формируется и закрепляется, главным образом, в культурно престижных образцах словесного творчества, как оригинальных, так и переводных, и лишь спустя некоторое время становится объектом кодификации в грамматических сочинениях. Одновременно актуализуется проблематика «древнего» и «нового» в языке; напряженно ищутся критерии отбора: что должно войти в качестве нормы в новый, «исправленный» язык, а что, напротив, отсекено по тем или иным соображениям. Реконструкция этих лингвистических исканий, описание стоявших перед реформаторами языка и культуры альтернатив представляется нам тем более важной, что кажущееся нашему современному «естественным» в описываемую эпоху было предметом напряженных языковых дискуссий, поисков теоретического обоснования для той или иной нормы и индивидуальных актов творческого выбора.

Привлекающие внимание авторов сборника эпизоды славянской культурной истории относятся, таким образом, к разным эпохам и регионам. В то же время, как уже отмечалось, культурный деятель — книжник, переводчик, справщик, литератор — ощущает себя причастным к Большому Времени. Сколько-нибудь значительный опыт языковой рефлексии всегда связан с переосмыслением опыта предшественников и попытками создания неких общезначимых принципов. Это позволяет нам рассматривать каждый частный случай в перспективе развития славянской грамматической мысли в целом.

В каждом из этих случаев славянская языковая конкретика вступает в сложные взаимоотношения с общими, как бы «вневременными» принципами, задаваемыми грамматической теорией, иноязычным эталоном, культурно престижным образцом. Нас интересует каждая попытка такого соотнесения общего и частного, универсального и конкретного — ее социокультурный контекст, ее теоретические предпосылки, ее альтернативы. Разумеется, воссоздаваемая таким образом картина эволюции грамматической мысли далека от линейных схем. Скорее, она поливариантна, и выбор, который история останавливает на одном из вариантов, не отменяет значимости других вариантов для реконструкции лингвокультурной ситуации минувших эпох.



## «О восьми частях слова»: проблема источников

Предметом нашего исследования является самое раннее сохранившееся сочинение на славянском языке, посвященное лингвистической проблематике, — трактат «О восьми частях слова» (ок. XIV в., Сербия или Болгария; о месте и времени написания см.: Ягич 1896, 75 сл.) Этот трактат, равно как и другие ранние славянские грамматики, обычно не попадает в поле зрения исследователей. После Ягича, посвятившего обширный труд начальному периоду славянской грамматической теории и опубликовавшему основной корпус текстов, созданных в этот период (Ягич 1896; см. также: Ягич 1910 сл.), практически никто не обращался к первым грамматическим сочинениям славян. Краткий очерк С. К. Булича (Булич 1904) полностью основан на идеях Ягича. В появившейся в середине века книге П.С.Кузнецова (Кузнецов 1958) очерк истории русской грамматической мысли начинается с грамматик Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого, а трактат «О восьми частях слова» лишь упоминается. Некоторый интерес к ранним памятникам появляется лишь в 70-е годы, но и в это время появилось только несколько небольших работ, авторы которых ограничиваются общим описанием интересующих нас текстов (Biedermann 1971; Jelitte 1972). Единственным исключением является, пожалуй, книга Д. Ворта (Worth 1983), который относительно подробно разобрал сочинение «О восьми частях слова» и некоторые русские рукописные грамматики, однако и это исследование представляет собой скорее описание, нежели анализ памятников.

Причина существования этого «белого пятна» в истории лингвистической мысли заключается, по-видимому, в специфике самих текстов. С одной стороны, в них сложно найти оригинальные теоретические рассуждения, которые могли бы представлять интерес для современной теории языка. С другой стороны, первые грамматики являются не нормативными, а спекулятивными, и поэтому не содержат почти никакого материала, который был бы интересен для лингвистов, занимающихся историей языка.

Тем не менее без трактата «О восьми частях слова» и связанной с ним традиции невозможно нарисовать достаточно полную картину развития грамматической теории у южных и восточных славян (о судьбе трактата в Древней Руси, куда он попадает, по-видимому, во время второго южнославянского влияния, см.: Жуковская 1982, ср. также отдельные замечания в статьях: Успенский 1994; Сиромаха 1979). Уже тот факт, что многие лингвистические термины, существующие в науке и по сей день, такие, как «падеж», «лицо», «число», впервые появляются на

славянском языке именно в ) этом сочинении, не может не привлечь внимания к данному памятнику. Не следует забывать, что авторы первых славянских нормативных грамматик, появившихся в конце XVI–XVII вв., создавали науку не на пустом месте, но во многом опирались на уже существующую терминологию — ту терминологию, которая частично восходит к трактату «О восьми частях слова» (см. напр.: Freidhof 1972, iii).

Из-за отсутствия должного интереса к трактату многие места в нем до сих пор не были удовлетворительно объяснены и остаются практически непонятными. Однако без интерпретации этих фрагментов невозможно решать никакие более общие проблемы, касающиеся данного памятника. Поэтому первая задача, встающая при исследовании трактата, — максимальное прояснение текста. Поскольку зависимость сочинения «О восьми частях слова» от греческих грамматик не вызывает сомнений, то ключом для решения этой задачи могли бы послужить греческие источники, лежащие в основе славянского сочинения.

Поиски какого-нибудь одного или нескольких греческих текстов, которые можно было бы назвать несомненными источниками трактата, не увенчались успехом. Однако, с другой стороны, почти для каждого фрагмента славянского памятника можно обнаружить параллели сразу во многих греческих грамматиках. Трактат составлен из некоторого количества тезисов, являвшихся общими местами греческого языкоznания. В этой ситуации, как кажется, разумнее всего не искать непосредственные источники славянского текста, а перейти к изучению его связи с греческой традицией в целом. Такое исследование, может быть, не только позволило бы объяснить непонятные места в тексте трактата, но и могло бы привести к некоторым более общим выводам, определив ориентацию автора трактата на то или иное направление греческой грамматической традиции, мы получили бы возможность судить о собственной лингвистической концепции первого славянского языковеда.

Для изучения средневековой греческой и славянской грамматики особенно важным представляется вопрос о взаимоотношениях между двумя лингвистическими традициями, одна из которых восходит к «Грамматике» Дионисия Фракийского, а другая к синтаксическим трактатам Аполлония Дискола. Согласно точке зрения, еще недавно разделявшейся практически всеми исследователями, в основе всей греческой теории языка лежит «Грамматическое искусство» Дионисия Фракийского, созданное во II в. до н. э. и представляющее собой грамматический учебник, в котором последовательно разбираются проблемы орфографии и просодии и дается подробная морфологическая характеристика частей речи. Синтаксическое учение, разработанное которого связывается с именем Аполлония, согласно той же традиционной интерпретации занимало в греческом языкоznании весьма незначительное место. По мнению некоторых ученых, трактаты Аполлония изобилуют морфологическими вставками, свидетельствующими о том, что синтаксис в это время еще не был самостоятельным разделом грамматического учения. Кроме того, целый ряд исследователей ставит под сомнение знакомство

византийских ученых с трудами Аполлония. Таким образом, в традиционной истории греческого языкоznания произведения Аполлония представляются маргинальными и не оказавшими никакого влияния на последующую теорию языка ответвлениями от традиции, восходящей к Дионисию Фракийскому.

Не так давно, однако, аутентичность труда Дионисия была поставлена под сомнение (di Benedetto 1959; Pinborg 1975). Если принять новую датировку основной части текста Дионисия III–IV вв. н. э., то картина формирования греческой грамматики получает совершенно иной вид. Создателями грамматической теории оказываются в этом случае стоики и Александрийцы! в. до н. э., тесно связанные со статической школой, — в первую очередь, Трифон. В некоторых исследованиях последних лет был доказан преобладающий синтаксический характер лингвистической теории стоиков и Александрийцев, обусловленный спецификой подхода к языку всей предшествовавшей философской, риторической и поэтиковедческой традиции (Гринцер 1991). Если исходить из этого взгляда на раннее греческое языкоzнание, то следует признать, что сочинения Аполлония Дискола находятся отнюдь не на периферии античной грамматической теории, сформировавшейся и развивавшейся под знаком господствовавшей морфологии, но являются наиболее полным отражением ранней лингвистической традиции, ориентированной в первую очередь на изучение синтаксиса. Произведение же, приписываемое Дионисию Фракийскому, можно считать позднейшей адаптацией того же лингвистического учения, которая появилась в тот момент, когда возникла потребность в каноническом школьном учебнике.

Следует также заметить, что огромное количество прямых и косвенных ссылок в византийских грамматиках на труды Аполлония заставляет усомниться и во втором из названных выше постулатов традиционной лингвистической историографии — в постулате, гласящем, что византийская теория языка основывалась исключительно на «Грамматике» Дионисия (бесспорные факты, свидетельствующие о популярности текстов Аполлония в Византии, и прежде заставляли некоторых исследователей отказываться от этого постулата; см. напр.: Mango 1975, 9; Jenkins 1963, 43). Если предположить, что сочинение, приписываемое Дионисию, является конспективным и формализованным изложением той теории языка, которая более полно представлена в трактатах Аполлония, то картина обучения грамматике в средневековых греческих школах, по-видимому, выглядела так: «Грамматика» Дионисия служила простейшим учебником, который комментировался и объяснялся с помощью текстов Аполлония.

Проблема ориентации автора трактата «О восьми частях слова» на сочинения Дионисия и Аполлония может оказаться достаточно важной при определении отношения славянского сочинения к греческой грамматической традиции. Влияние на данный памятник текста Дионисия Фракийского лежит на поверхности и не требует специального анализа (мы можем ограничиться ссылкой на работу Ягича, где собраны

все параллельные места из «Грамматики» Дионисия). Однако некоторые фрагменты славянского текста невозможно объяснить с помощью сочинения Дионисия. Несколько подобных мест мы и рассмотрим в настоящей работе.

Во-первых, это порядок, в котором автор перечисляет падежи. В нескольких фрагментах падежи приводятся в довольно необычной последовательности: именительный — родительный — винительный — дательный — звательный (см. напр.: 1b20–21).<sup>1</sup> Винительный падеж, вместо того чтобы занимать положенное ему место между дательным и звательным, оказывается вдруг сразу после родительного. Такой порядок никак нельзя счесть случайной ошибкой: в этой части текста (т. е. с начала текста до 3b2 — до того момента, когда автор начинает разбирать акциденции имени по Дионисию) он еще неоднократно повторяется, причем семь из девяти приводимых парадигм склонения содержат именно такую последовательность падежей (единственные два исключения в Заб–9 и За20–б2). С другой стороны, во всех прочих частях текста, когда речь заходит о падежах (4a21–б1; 7b4сл.; 8a15сл.), они приводятся в обычном порядке (именительный — родительный — дательный — винительный — звательный).

В связи с этим, естественно, возникает вопрос: откуда наш автор мог заимствовать такую довольно странную последовательность падежей? В греческой грамматике был распространен обычный порядок: ὄρθη «прямой падеж», γενική «родительный», δοτική «дательный», αἰτιατική «винительный», κλητική «звательный». Его мы встречаем везде: у Дионисия, в схолиях к Дионисию, в различных образцах склонения (например, в «Канонах» Феодосия) и т. д. По-видимому, эта последовательность представлялась естественной и Аполлонию Дисколу. Например, говоря о разделении глаголов на классы в зависимости от их управления, Аполлоний перечисляет падежи именно в такой последовательности:

Синтаксис, 283<sup>2</sup>: τοῖς μέντοι γε μετὰ πάστις ἀκριβείας ἐπέξιοιδοι τὰ τῆς συντάξεως τοῦ λόγου προσγενήσεται, ἐπιστῆσαι, τίνα τῶν ρημάτων γενική ἀπαιτεῖ καὶ τί τούτου τὸ αἴτιον, καὶ τίνα δοτικήν, συνόντος πάλιν τοῦ αἴτιου· τὸ αὐτὸν καπὲ τῆς αἰτιατικῆς.

«Тем, кто хочет внимательно изучить синтаксическую теорию, необходимо будет узнать, какие из глаголов требуют родительного падежа и по какой причине, какие дательного и опять-таки почему. То же самое касается и винительного падежа».

<sup>1</sup> Здесь и далее в настоящей работе трактат «О восьми частях слова» цитируется по: Weiher 1977.

<sup>2</sup> Здесь и далее «Синтаксис» Аполлония Дискола цитируется по: Bekker 1817.

О том порядке падежей, с которым мы сталкиваемся в славянском тексте, мы располагаем куда более скучными сведениями. В греческих грамматических сочинениях он упоминается, пожалуй, только один раз: византийский грамматик Херовоск сообщает о том, что есть некоторые ученые, утверждающие, что винительный падеж следует за родительным (*ιστέον δὲ ὅπε τινὲς τὴν αἰτιατικὴν ἀλλὰ τῆς γενικῆς κανονίζουσι λέγοντες...* | 103 Gaisford; см.: Ягич 1896, 59).

Однако нам удалось обнаружить в «Синтаксисе» Аполлония Дискола одно место, где дважды имплицитно присутствует именно эта интересующая нас последовательность. Говоря о разновидностях, глагольного управления, Аполлоний приводит примеры в следующем порядке: *ἀκούω*, управляющий родительным падежом (*ἀκούω σου*); *τύλτω*, требующий винительного падежа (*τύλτω σε*); и лишь затем следуют глаголы *τέμνω* и *γυμνάζω*, при которых может стоять имя в дательном падеже *τέμνω σοι* и *γυμνάζω σοι* (Синтаксис, 177). Несколькими строчками ниже вновь появляется та же последовательность: *ἐγώ ἀκούω σου* (родительный), *ἐγώ ἐτίμω σε* (винительный) и *ἐγώ σοι χαρίζομαι* (дательный).

Итак, не исключено, что Аполлоний был знаком с обеими последовательностями падежей. Какая из них появилась раньше, какая была более распространенной в начальный период грамматической науки — все эти вопросы пока приходится оставить без ответа. Существует, однако, проблема, которую можно попытаться решить, а именно: какой принцип лежит в основе каждого из этих порядков?

Рассмотрим сначала «обычный» порядок. Согласно распространенной точке зрения (см.: Pinborg 1975, 87; Hjelmslev 1935, 8–9), у греческих грамматиков не было какой-либо определенной концепции оппозиционных отношений между падежами. По мнению Ельмслева (см. также: Robins 1974), наиболее удовлетворительным следует считать пространственное объяснение падежной системы, которое содержится в сочинении византийского ученого Максима Плануда. Ельмслев обнаружил у Плануда такое толкование падежей, при котором они представляются поочередно отвечающими на вопросы *πόθεν* (откуда?), *τοῦ* (где?), *πῇ* (куда?). Таким образом, дательный падеж является немаркированным, а родительный и винительный маркованы соответственно идеей удаления и приближения. Эта теория, безусловно, не есть изобретение Плануда. Похожие соображения можно найти в сколях к Дионисию, дошедших до нас под именем Гелиодора (VIII в.) (Sch. 549), и возможно, что данное объяснение восходит по меньшей мере к Аполлонию Дисколу, если не к более ранним авторам.

Кроме того, у Аполлония есть еще одна трактовка падежной системы, которая в принципе близка пространственной интерпретации. В одном месте в «Синтаксисе» Аполлоний рассматривает основные значения трех косвенных падежей, причем в последовательности «родительный — дательный — винительный». Основной функцией родительного падежа здесь оказывается обозначение обладания:

προφανὲς γάρ ἔστιν ὡς χωρὶς γενικῆς κτῆμα οὐκ ἔστιν ἐπινοῆσαι «ибо совершенно ясно, что об обладании невозможно помыслить без родительного падежа» (Синтаксис, 292). Что касается дательного падежа, по Аполлонию, его основное значение, — это значение приобретения: καὶ δὴ ἀπαντα τὰ περιποίησιν δηλοῦντα, εἴτε καὶ τῶν ἐν λόγῳ, εἴτε καὶ τῶν ἐν σώματι, ἐπὶ δοτήκην φέρεται, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, λέγω σοι, ὡσεὶ λόγου σοι μεταδίδομι... καθόπτερ καὶ ἐπὶ σώματος τέμνω σοί, ὡσεὶ περιποιῷ σοί τι μέρος τοῦ σώματος «Все, что обозначает приобретение — будь то словесное или материальное — относится к дательному падежу; например, "я говорю тебе" означает, что я уделяю тебе свою речь... так же, как и в материальном смысле "я режу тебе" означает, что я наделяю тебя частью некоего предмета [а именно, мяса]» (Там же).

Винительный же падеж, согласно трактовке Аполлония, указывает на действие, совершающееся во вред объекту (в отличие от дательного): σαφὲς γάρ ὅτι τὸ λέγω σε κλέπτην τοιοῦτόν τι σπημαίνει, δι' οὗ προΐεμαι λόγου ὄριζομαί σε δεδρακέναι τὰ τῆς κλοπῆς... τό γε μὴν τέμνω σέ πάλιν, τὴν ἐνέργειαν ἐπιφέρον κατὰ τοῦ ὑποκειμένου, συντήθεν ὄμοιώς εἰς τὴν αἰτιατικὴν σύνταξιν «Ибо ясно, что фраза "я называю тебя вором" означает примерно следующее: "в том высказывании, которое я произношу, я утверждаю, что ты совершил воровство"... Фраза "я режу тебя" опять-таки направляет действие против объекта, и поэтому также содержит конструкцию с винительным падежом» (Там же).

Итак, принципом выстраивания оппозиционных отношений между падежами является обозначение пользы действия для объекта: высшая степень (обладание) выражается родительным падежом, следующая степень (приобретение) — дательным, а низшая, или отрицательная (действие, направленное против объекта) — винительным. В основе такой классификации падежей оказывается семантический принцип.

Теперь мы попробуем найти объяснение падежной системы второго типа (родительный — винительный — дательный). Единственным источником здесь опять может служить лишь текст Аполлония Дискола, в котором мы, собственно, и находим такую систему. Поскольку эта последовательность падежей появляется при описании глагольного управления, можно предположить, что она некоторым образом связана с отношениями между глаголом и именем.

Аполлоний, следуя, по-видимому, за стойками, несколько раз интерпретирует оппозицию между прямым и косвенными падежами как оппозицию активность / пассивность (см.: Rinborg 1975, 87). Более того, по его мнению, главным в отношениях между именем и глаголом является то, что имя обозначает активного или пассивного участника действия, а глагол — активность или пассивность самого действия (Синтаксис, 12; подробнее см. наш комм. к 4б5–11). Посмотрим, как в этом случае распределяются функции между падежами.

Родительный падеж присущ пассивным конструкциям (τοῦ μέντοι πάθους ἐγγίζει ἡ κατὰ γενικὴν σύνταξις. — Синтаксис, 290), в которых он обозначает субъекта действия, т. е. активного участника.

О винительном падеже Аполлоний сообщает следующее: πολυμερεστάτη ἐστὶν ἡ κατ' αἰτιατικὴν σύνταξις, ἐνὶ συμφωνοῦσα τῷ ἀναδέχεσθαι τὴν ἔξ εὐθείας ἐνεργητικὴν διάθεσιν «Конструкция с винительным падежом может иметь много разновидностей, которые сходятся в одном отношении: они принимают действие, выраженное активным залогом» (Там же). Таким образом, винительный падеж обозначает объект действия, выраженного активным глаголом, т. е. пассивного участника действия.

Что касается дательного падежа, то его значение не соотносится с основной осью субъектно-объектных отношений: он никак не связан с главной функцией глагола — обозначением активности или пассивности, — и таким образом, оказывается вторичным по отношению к родительному и винительному, которые, в свою очередь, противопоставлены друг другу по признаку активности / пассивности.

Стоит посмотреть, как указанные нами синтаксические функции падежей реализуются в сочетаниях с различными глаголами. Как мы уже говорили, Аполлоний рассматривает управление нескольких глаголов в такой последовательности: сначала глагол, требующий родительного падежа, затем глагол, управляющий винительным, и, наконец, глагол с дательным падежом (Синтаксис, 177). В качестве примера глагола, сочетающегося с родительным падежом, он приводит ὁκούω «слышать». В другом месте Аполлоний утверждает, что родительного падежа требуют все глаголы, обозначающие ощущения (ὁκούειν «слышать», ὀσφραίνεσθαι «обонять», γεύεσθαι «ощущать вкус»), поскольку они по своей семантике пассивны: действие исходит от объекта ощущений (Там же, 291). Таким образом, фраза «я тебя слушаю» (ἐγὼ ὁκούω σου) является пассивным вариантом высказывания «ты заставляешь меня слушать», и местоимение σου обозначает здесь субъекта действия. После глагола ὁκούειν грамматик разбирает управление глагола τύλτειν «быть», требующего прямого дополнения, которым обозначается пассивный участник действия, и лишь затем следует упоминание о дательном падеже при τέμνω и γυμνάζω: оба глагола в принципе управляют винительным падежом, и дательный ставится при них только в том случае, если нужно указать на косвенного участника действия (Там же, 177).

Итак, если в основе первой классификации падежных отношений лежит семантический принцип (выбор падежа определяется только значением падежной формы), то в основе последовательности «родительный — винительный — дательный» принцип синтаксический. Падежная форма в этом случае выступает не сама по себе, а в ее связи с действием, которое выражается во всем высказывании. Как мы уже отмечали, исследователи возводят такую трактовку падежей к стоикам и

соотносят ее со стойческим учением о типах предикатов (Pinborg 1975, 87). Прямо постулировать, что помещение винительного падежа вместе с родительным перед дательным также восходит к стойкам, было бы слишком смело, однако связь такого определения порядка падежей со стойческой грамматикой не исключена.

Если наша гипотеза верна, то в славянском тексте мы встречаем уникальное отражение древнего учения об отношениях между падежами — учения, о котором после Аполлония не упоминается практически ни в одном из известных нам греческих грамматических сочинений.

Второй фрагмент текста, который также достаточно хорошо показывает близость славянского сочинения трудам Аполлония, содержит рассуждение о порядке частей речи, а именно, автор пытается ответить на вопрос, почему имя следует рассматривать перед глаголом (4б5–11):

Пониске прѣ(д)варше рѣхо(м), тако осмь части соу(т) слова. Име же въ си(х) яко основаник. прочеи во части оглаганія соу(т) имену. и имена во глюют се. глаглающе, стр(с)ть, или дѣйство, икоже и(с) име. страж(д)оющаго или дѣйствующаго. множак же иныхъ, рѣчь прѣж(д)е үставиходо(м) изъясниги.

С точки зрения автора, имя должно занимать самое важное место, потому что оно обозначает участника действия (активного или пассивного, страж(д)оющаго или дѣйствующаго) и выступает в роли «основания». Остальные же части речи следуют за именем, поскольку они являются лишь «оглаголаниями» имени. Сразу после имени должен быть помещен глагол, обозначающий активность или пассивность действия и, таким образом, представляющий собой основное «оглаголание» имени.

Идея о том, что порядок анализа частей речи не произволен, а обусловлен теми или иными причинами, высказывается практически во всех греческих грамматиках. Мы неоднократно встречаем ее в схолиях к Дионисию, однако причина, по которой имя должно предшествовать глаголу, определяется схолиастами совсем не так, как автором славянского трактата. По их мнению, имя важнее глагола, потому что имя обозначает сущность (*οὐσία*), а глагол — действие (*πρᾶγμα*) или акциденцию (*συμβεβήκός*); сущность же должна предшествовать действию. Гелиодор, например, объясняет отношения между частями речи следующим образом:

Sch. 71. ἀναγκαῖος μετὰ τὸ ὄνομα τὸ ρῆμα τέτακται. εἰρήκαμεν γάρ, ὅτι τὰ κυριώτατα τῶν μερῶν τοῦ λόγου τὸ τε ὄνομα καὶ τὸ ρῆμα ἔστιν, ἐπειδὴ ταῦτα ὥσπερ σῶμα καὶ ψυχὴ ὄντα ποιεῖ τὰ ὅλλα ἐξ αὐτῶν προϊέναι τε καὶ φαίνεσθαι. καὶ τὸ μὲν ὄνομα πρεσβεύει, ὅτι κατὰ οὐσίας τίθεται, τὸ δὲ ρῆμα δευτερεύει, ὅτι κατὰ πραγμάτων.

«Глагол обязательно должен быть помещен после имени. Ведь мы сказали, что имя и глагол — это самые важные из частей высказывания».

вания, поскольку они, будучи подобными телу и душе, выводят из себя и являются на свет все прочие [части]. И при этом имя занимает первое место, так как оно обозначает сущность, а глагол — второе, потому что он обозначает действие».

Похожее объяснение предлагаю и комментаторы «Канонов» Феодосия Александрийского. Например, с точки зрения Херовоска, «имя предшествует глаголу, потому что имя обозначает сущность, а глагол — акциденцию» (τὸ δὲ ὄνομα προτερεύει τοῦ ρῆματος, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὄνομα οὐσίας ἔστι σημαντικόν, τὸ δὲ ρῆμα συμβεβηκότας. — I 105, Hilgard 1894). Ту же мысль высказывает Софроний: «Имя по природе своей предшествует глаголу, ибо имя обозначает сущность, а глагол акциденцию» (προτέτακται δὲ τοῦ ρῆματος φύσει τὸ ὄνομα... τὸ γὰρ ὄνομα οὐσίαν σημαίνει, τὸ δὲ ρῆμα συμβεβηκότας. — Там же, 376).

Ни в одной из приведенных нами цитат ничего не говорится ни об «оглаголании» имени, ни о значении активности и пассивности, заложенном в имени и глаголе.

Итак, приходится считать, что славянский текст заимствован из совершенно другого источника.

В первую очередь, нужно определить, какой именно греческий термин передается в нашем тексте словом оглаголаник. Ягич предположил, что оглаголаник представляет собой перевод греч. περίφρασις (Ягич, 1896, 61). Однако такое выражение никогда не употребляется в греческих грамматиках (о чём, впрочем, сообщает и сам Ягич). С другой стороны, в славянской версии «Диалектики» Дамаскина есть один контекст, где оглаголаник соответствует греческому термину κατηγορία: Πέτρέβα κ[α]τηγορία τακо деветь оглаголаник, кром' соցьства, имоуть којж(д)о състоитеанă и раз(д)ѣлнителна разынствна при греч. χρή δὲ γινώσκειν, ὅτι αἱ ἐννέα κατηγορίαι, αἱ ἑκτὸς τῆς οὐσίας ἔχουσιν... συστατικάς καὶ διαρετικάς διαφοράς (57б7–9). Кроме того, слово катигория в том же тексте часто переводится славянским нанъглаголаник (30б1, 2, 3, 6; 36б8; 38а5, б1, 5 и т. д.; ср. κατηγορεῖν = нанъглаголати в 31а8; б1, 3, 5; 32а1–3, 8; б2, 5 и т. д.).

Если предположить, что и в нашем памятнике за слав. оглаголаник стоит греч. κατηγορία, то у рассматриваемого нами фрагмента появляются прекрасные греческие параллели. Во-первых, это стойческое определение глагола: ρῆμα δέ ἔστι μέρος λόγου σημαίνον ἀσύνθετον κατηγόρια, ὡς ὁ Διογένης «Глагол — это часть высказывания, обозначающая несоставной предикат, как считает Диоген [Вавилонский]» (DL VII 57 = SVF III Diog. Bab. fr. 22). Предикативная функция глагола по отношению к имени (ср. оглаголаник именъ) подчеркивается в одном из фрагментов Хрисиппа: τὸ κατηγορούμενον ὄνοματος κατηγορεῖται (SVF II fr. 184). О том, что стойческая трактовка глагола была известна византийским грамматикам, свидетельствует следующий фрагмент из «Грамматики» Псевдо-Феодосия (Феодора

Продрома): *ρῆμα ἔστι μέρος λόγου σπραχίνον ἀλτωτὸν κατηγόρημα* «Глагол — это часть высказывания, обозначающая несклоняемый предикат» (17 Goettling = fr. 536A Hülser).

Итак, славянский автор вслед за стоиками определяет отношение между именем и глаголом как предикацию. Однако в трактате сообщается, что остальные части речи также являются «оглаголаниями» имени. Это замечание кажется довольно странным: каким образом, например, в качестве предиката может выступать союз или предлог? Нам все же представляется, что и здесь автор опирается на греческий источник, хотя и воспроизводит его не совсем точно.

Дело в том, что в греческих грамматиках, написанных под стоическим влиянием (например, в сочинениях Аполлония Дискола), отношения между частями речи (точнее, между частями высказывания) определялись как отношения предикации. В трактате Аполлония «О наречиях» мы находим два места, в которых говорится, что наречие находится в предикативном отношении к глаголу, а прилагательное — к имени:

1) *ἔστιν οὐν ἐπίρρημα μὲν λέξις ἀκλίτος, κατηγοροῦσα τῶν ἐν τοῖς ρήμασιν ἐγκλίσεων.*

«Наречие — это несклоняемое слово, которое высказывается о глагольных формах» (119 Schneider).

2) *πάντα τὰ πτωτικὰ ἐπιθετικά, κατηγοροῦντα οὐ τῶν ὀνομάτων, τῶν δὲ ρῆμάτων, ἐπιρρήματα ἐγένετο.*

«Все склоняемые прилагательные, которые высказываются не об имени, а о глаголе, стали наречиями» (120 Schneider).

Итак, в греческих грамматиках встречаются два принципа, согласно которым определяется порядок частей речи. Первый принцип — чисто семантический: имя обозначает сущность, глагол — акциденцию, сущность первична по отношению к акциденциям, и, следовательно, имя должно предшествовать глаголу. Этот принцип оказывается господствующим в сочинениях византийского времени.

Второй принцип можно определить как семантико-сintаксический. Части речи рассматриваются не каждая по отдельности, а как части высказывания, и, следовательно, между ними выстраиваются отношения синтаксической зависимости, которая трактуется как предикация. Этот принцип формулирует Аполлоний Дискол: *ἔστιν οὖν τὰς τάξις μίμημα τοῦ σύντονοῦ λόγου, πάνυ ἀκριβῶς πρώτον τὸ ὄνομα θεματίσασα, μεθ' ὃ τὸ ρῆμα* «Порядок [частей речи] воспроизводит структуру законченного высказывания, совершенно справедливо располагая на первом месте имя, а после него глагол» (Синтаксис, 11).

В славянском трактате порядок частей речи определяется именно по второму, семантико-сintаксическому, принципу, и таким образом,

мы сталкиваемся с довольно удивительной параллелью между славянским сочинением XIV в. и самыми ранними греческими грамматиками.

Теперь стоит обратиться ко второй части рассматриваемого фрагмента. Каким образом в описание порядка частей речи попало рассуждение об активности / пассивности имени и глагола? Ягич (Ягич 1896, 61) приводит одну греческую параллель: в схолях к Дионисию комментатор Стефан, объясняя, почему отлагольные имена (*ρήματα ὄνοματα*) имеют категорию залога, говорит, что «мы — люди — совершаем действия, обозначаемые глаголами, в качестве их активных или пассивных участников» (*τὰ ρήματα, τούτεστι τὰ πράγματα, ἀποτελοῦμεν ὅνθρωποι ή ὡς πάσχοντες ή ὡς ἐνέργοντες.* — Sch. 243). Однако, если в этом замечании Стефана речь идет только об отлагольных именах, в славянском тексте все имена характеризуются как *имя страждающего или действующего*. Кроме того, греческий комментатор в отличие от нашего автора никак не связывает определение залогов имени с порядком частей речи.

С другой стороны, данный фрагмент славянского трактата очень близок к одному из утверждений Аполлония: *καὶ τοῦ ρήματος ὄνομακάίς πρόκειται τὸ ὄνομα, ἐπεὶ τὸ διατίθεναι καὶ τὸ διατίθεσθαι σώματος ἔδιον, τοῖς δὲ σώμασιν ἐπίκειται η θέσις τῶν ὄνομάτων, εἴς ὧν η ἴδιότης τοῦ ρήματος, λέγω τὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ πάθος* «Имя обязательно предшествует глаголу, потому что расположать и быть расположенным — свойство предмета (а имена устанавливаются как раз для предметов), и отсюда происходит главное свойство глагола — я имею в виду обозначение действия и претерпевания» (Синтаксис, 12).

Точно так же, как и славянский автор, Аполлоний распространяет понятие залога на все имена, а не только на отлагольные, и, вводя категорию именного залога, объясняет с ее помощью, почему имя занимает в перечне частей речи первое место, а глагол — второе. В византийскую эпоху эти идеи Аполлония повторяет Максим Плануд: *πρὸ τοῦ ρήματος δὲ εἴς ὄντας κεῖται τὸ ὄνομα, ἐπειδὴ τὸ ἐνέργειν τε καὶ τὸ πάσχειν τῆς οὐσίας ἐστὶν ἔδιον, καθ' ἣν η θέσις τῶν ὄνομάτων ἐστίν, εἴς ὧν η ἴδιότης τοῦ ρήματος, τούτο δ' ἔστιν η ἐνέργεια καὶ τὸ πάθος, γεννᾶται* «Имя обязательно предшествует глаголу, потому что действовать и претерпевать есть свойство сущности, для которой устанавливаются имена, и отсюда происходит главное свойство глагола, т. е. обозначение действия и претерпевания» (Максим Плануд «Синтаксис», II 113 Bachmann).

Теперь необходимо найти ответы на несколько вопросов. Во-первых, какой смысл вкладывает Аполлоний — а следовательно, и автор славянского трактата — в понятие залога имени? Во-вторых, почему залог характеризуется как главное свойство имени, определяющее его место в порядке частей речи? В-третьих, как связаны между

собой категория залога и предикация (т. е. отношения между именем и глаголом)?

Прежде всего, стоит выяснить, какое значение у Аполлония имеет система терминов διάθεσις «залог», ἐνέργεια «активный залог», πάθος «пассивный залог». Традиционное представление о залоге как о грамматической категории, выражющейся в тех или иных глагольных формах, — представление, которое мы встречаем в «Грамматике» Дионисия и во всех последующих грамматических сочинениях, — никак не позволило бы говорить о залогах имени. Следовательно, Аполлоний должен трактовать это понятие иначе.

Некоторый свет на значение терминов ἐνέργεια и πάθος проливает один контекст из «Синтаксиса»: αἱ μὲν οὖν ἐκ τῆς εὐθείας ἐγγινόμεναι δράσεις σχεδὸν ἐπὶ αἰτιατικὴν ἀπασαὶ συντείνονται, παριφρίσταμένου καὶ τοῦ ἐνεργοῦντος καὶ τὸ πάθος ἀναδέχομένου, ὡς ἐν τῷ δέρῳ σε, τύπῳ σε «Почти все действия, исходящие от именительного падежа, устремляются к винительному, так что [в высказывании] предстает действующее лицо и лицо, получающее эффект действия, как, например, в конструкциях "я тебя деру", "я тебя бью"» (283). Как видно из этого фрагмента, «действующее лицо» (*ό ἐνεργόν*) является субъектом действия, а «претерпевающее лицо» — объектом, основная же функция глагола заключается в выражении субъектно-объектных отношений. Таким образом, термин διάθεσις в подобных контекстах обозначает не морфологическую категорию залога, а характер отношений между у субъектом и объектом; ср., например: «Косвенные падежи получают свою структуру от прямых, а глаголы, которые оказываются между [падежами], указывают на *отношение каждого* [падежа к другому], как, например, "Теона учит Трифон"; "Его люблю я"; "Его любит Теон"» (*αἱ γε μὴν πλάγιαι τὴν ἐκ τῶν εὐθειῶν σύνταξιν ἀναδέχονται, τῶν μεταξὺ πιπτόντων ρημάτων ἐνδεικνυμένων τὴν ἐκάστης διάθεσιν, ὡς ἔχει τὸ Θέωνα διδάσκει Τρύφων, τοῦτον φιλῷ ἐγώ, τοῦτον φιλεῖ Θέων.* — Синтаксис, 107). В данном фрагменте термин διάθεσις относится к *имени*, а не к глаголу, глагол же лишь указывает на то «расположение», в котором находится тот или иной участник действия — субъект или объект. «Именное» значение этого термина оказывается первичным по отношению к глагольному: залог глагола только отражает отношения между субъектом и объектом. Замечание Аполлония о том, что синтаксическая функция косвенного падежа вытекает из прямого падежа, а не из глагола, и что глагол всего лишь «оказывается» (*πίπτει*) между субъектом и объектом, показывает, каким образом из способности имени обозначать активное и пассивное лицо (т. е. субъект и объект) следует превосходство имени над глаголом. Представление грамматика о субъектно-объектных отношениях и об относительной роли имени и глагола в высказывании можно описать в виде следующей схемы:

1. Имя	субъект (ὁ ἐνεργῶν)	объект (ὁ πάσχων)
отношения между субъектом и объектом (διάθεσις)		

2. Глагол	залог (διάθεσις)
-----------	---------------------

Данная концепция, несомненно, взята Аполлонием из стоической теории языка. По-видимому, уже стоики обозначали одним и тем же термином, с одной стороны, субъект действия и активный предикат (ἐνεργητικὴ διάθεσις) и, с другой стороны, объект и пассивный предикат (παθητικὴ διάθεσις) (см.: Pinborg 1975, 89). Интересно, как после Аполлония изменяется значение термина *διάθεσις*. Уже в «Грамматике», приписываемой Дионисию Фракийскому, этот термин обозначает глагольную акциденцию — залог, который характеризуется определенными грамматическими формами. Однако в той же «Грамматике» есть один контекст, в котором отразилось исходное значение термина. Автор сообщает о том, что категория залога распространяется и на имена: «У имени два залога: действительный и страдательный. Действительный: например, "судья" — "тот, кто судит". Страдательный: например, "подсудимый" — "тот, кого судят" τοῦ δὲ ὄνόματος διαθέσεις εἰσὶ δύο, ἐνέργεια μὲν, ως κρίτης ὁ κρίνων, πάθος δέ, ως κρίτος ὁ κρινόμενος (637). Этот фрагмент вызывал удивление у византийских грамматиков, считавших, что залог — это исключительно глагольная акциденция (*διάθεσις μᾶλλον τῷ ρίζατι ἔπονται ή τῷ ὄνόματι*. — Sch. 70). Чтобы объяснить, каким образом у имени может быть залог, сколиасты придумали следующий выход. Они стали относить замечание Дионисия только к отлагательным именам, которые, будучи образованными от глаголов, могут сохранять некоторые из акциденций глагола (примеры см. в нашем комментарии к Зб10–15). Таким образом, *διάθεσις* из синтаксической категории превратился в категорию чисто морфологическую.

Славянский текст примечателен тем, что в нем сохраняется древний принцип синтаксического определения частей речи, который считался практически исчезнувшим из греческих грамматических сочинений под влиянием традиции Дионисия Фракийского, ориентированной не на синтаксис, а на морфологию.

Третья группа фрагментов, которые мы рассмотрим в нашей работе, посвящена трактовке глагольного наклонения.

5b1–2. *Изложение же к(с) се. воли душे износима гласо(м), речию глаголам.*

Славянский автор дает здесь определение первой из перечисленных им акциденций глагола — наклонения (*изложение*). Определение наклонения как изъявления «воли души» имеет достаточно много параллелей в греческих грамматиках. Мы встречаем его, например, у Псевдо-Феодосия: ἔγκλισις μὲν οὖν ἐστὶ βούλησθος ψυχῆς ἐμφάσις (139 Goetting). Очень близко данному фрагменту славянского трактата определение, приводимое Улигом в издании «Грамматики» Дионисия Фракийского по неопубликованному тексту ἔγκλισις ἐστὶ βούλησις ψυχῆς διὰ φωνῆς σπουδαιομένη (см.: Uhlig 1883, 47 в примечаниях). Это же определение повторяется в эротематах Мосхопула (см.: Ягич 1896, 69).

Следует отметить одну интересную деталь, на которую до сих пор никто не обращал внимания. Греческий термин «наклонение» по какой-то непонятной причине переведен словом *изложение*, имеющим в принципе совершенно иное значение. Существительное *изложение* и глагол *изложити* обычно передавали греч. ἐκβάλλειν и ἐκτίθημι. Когда же эти слова употреблялись применительно к речи, они обозначали сочинение или произнесение некоего словесного текста. В славянском слове *изложение* нет ничего общего с идеей «отклонения» или «наклонения», которая присутствует в греч. ἔγκλισις. Следовательно, не исключено, что в основе славянского термина лежит какое-то другое греческое слово.

В сколях к «Грамматике» Дионисия мы встречаем одно довольно любопытное замечание. Комментатор Гелиодор сообщает: δεῖ δε εἰδέναι, ὅτι διστή ἐστιν ἡ διάθεσις νοεῖται γάρ διάθεσις ἡ δρᾶσις καὶ ἡ πεῖσις, καὶ πάλιν ἡ λόγῳ προθραψέντι βούλησις τῆς ψυχῆς, ἐνῷ ἡ ὄριζει ὡς δρῶσά τι, ἡ προστάττει ὥστε γενέσθαι, ἡ προσεύχεται... ἡ διστάζει, ἡ οὐδὲν τούτων ἐμφαίνει «Следует знать, что термин διάθεσις имеет два значения. С одной стороны, им обозначается действие или претерпевание и, во-вторых, расчлененное речью желание души, когда она [душа] или изъявляет, будто что-то делает, или повелевает, чтобы что-то произошло, или желает, или сомневается, или ничего такого не показывает» (Sch. 72). Из этой цитаты следует, что термин διάθεσις мог обозначать не только залог, но и наклонение.

Греческое слово διάθεσις оказывается гораздо ближе славянскому «изложению», нежели ἔγκλισις. Слово διάθεσις имеет в греческом языке два основных значения: пассивное («расположение», откуда значение залога как взаимного расположения субъекта и объекта) и значение наклонения как расположения души; см. об этом ниже) и

активное («разложение» > «изображение» и «изложение»). Помимо близости значений слав. *изложеник* и греч. διάθεσις, эти два слова имеют и похожую внутреннюю структуру, так что не исключена возможность калькирования διάθεσις через *изложеник*. Действительно, возможность отождествления корней (греч. -θε- и слав. -лож-) не вызывает никаких сомнений, а что касается приставок, в словаре Миклошича мы находим такие примеры: избегнти διαφεύγειν; изгаднти διαφείρειν; изменити διацеίβειν, и что особенно интересно, поскольку относится к речевому акту, — извещати διαγγέλλειν; известствовати διафεβούσθαι (см.: Miklosich 1862–1865).

Итак, мы можем предположить, что слово *изложеник* в нашем памятнике воспроизводит греческий термин διάθεσις, а не ἔγκλισις. Нужно, правда, отметить, что в данном случае славянское слово передает активное значение греч. διάθεσις, в то время как в греческой грамматической теории слово διάθεσις выступало в своем пассивном значении. Однако семантическая история данного греческого термина должна была мало интересовать славянского переводчика, и поэтому передача διάθεσις через *изложеник* вполне допустима.

Употребление слова διάθεσις в значении глагольного наклонения восходит к Аполлонию Дискулу. Например, Аполлоний включает его в определение глагола: ὅτε καὶ τὰς τῆς ψυχῆς διαθέσεις δηλοῖ «[Глагол] иногда обозначает расположение души» (см.: Sch 72); Гелиодор комментирует это определение следующим образом: τὰς τῆς ψυχῆς διαθέσεις, ὅ ἐστι τὰς τῆς ψυχῆς βούλήσεις «расположение души, т. е. желание души» (Там же).

Далее мы попытаемся показать, что трактовка категории «изложения» в славянском памятнике гораздо ближе трактовке Аполлонием понятия διάθεσις, нежели определению наклонения (ἔγκλισις) в традиции Дионисия Фракийского.

5b2–6. воля же дше, въ си(х) петь слова, объдрьжит се, въ повелѣнномъ. въ мнѣвно(м). въ въпросно(м). въ звателномъ. въ повѣстно(м). также и изложеник нарнчт се.

Классификация изложений совершенно не похожа на обычное описание категории наклонения в греческих грамматиках. Согласно Дионисию и всем более поздним греческим ученым, существуют следующие пять разновидностей наклонения: «изъявительное» (օριστική), «повелительное» (προστακτική), «желательное» (εὐκτική), «подчиненное» (ὑποτακτική) и «неопределенное» (ἀταρέμφατος) (см.: «Грамматика» Дионисия, 638). Каждое из этих наклонений выражается определенными грамматическими формами (например, показателем «подчиненного» наклонения, т. е. конъюнктива, является удлинение тематического гласного; показателем «желательного» наклонения, оптатива, — суффиксы ı или oı и т. д.).

В нашем же тексте речь собственно идет не о наклонениях, а о типах высказываний: *въ пять словъ, ѿвъдържитъ се*. Действительно, философы-перипатетики выделяли пять разновидностей высказываний: *τὸν δὲ δὴ λόγου διεῖλον οἱ μὲν Περιπατητικοὶ εἰς πέντε, εἰς εὐκτικόν, προστακτικόν, ἐρωτητικόν, ἀποφαντικόν, κλητικόν* «Перипатетики разделили высказывание на пять типов: желательное, повелительное, вопросительное, повествовательное, звательное» (III 1178-9 Bekk.). Эти типы полностью совпадают с перечисленными в славянском тексте «словами»: *погелѣнно = προστακτικός; мѣтвно = εὐκτικός; въпросно = ἐρωτητικός; звателно = κλητικός; повѣстно = ἀποφαντικός*. С другой стороны, можно обратить внимание на то, что некоторые из типов высказывания соответствуют тем или иным наклонениям: совершенно очевидна параллель между «желательным» (*εὐκτικός*) высказыванием и оптативом (*ή εὐκτικὴ ἔγκλισις*), «повелительным» (*προστακтиκός*) высказыванием и императивом (*ή προστακτικὴ ἔγκλισι*), и, кроме того, можно провести аналогию между «повествовательным» (*ἀποφαντικός*) высказыванием и индикативом (*ή ὄριστικὴ ἔγκλισις*).

Итак, по-видимому, мы сталкиваемся со смешением двух понятий: глагольного наклонения и типа высказывания. Теперь стоит поискать ответы на вопросы: каким образом могло произойти такое смешение и нет ли для него аналогий в греческих грамматиках.

Прежде всего мы обратимся к сочинениям Аполлония Дискола, поскольку, как мы предположили, именно у него заимствован термин *изложеник*.

*διάθεσις* (или *ψυχικὴ διάθεσις*) у Аполлония обозначает «расположение души» говорящего, или его отношение к тому, что высказывается в речи. Это «расположение души» реализуется в одном из глагольных наклонений (индикативе, императиве, конъюнктиве или оптативе). Термин *ἔγκλισις* также употребляется применительно к наклонению глагола, однако обозначает, как и во всех более поздних сочинениях, глагольную форму в том или ином наклонении (см., например: Синтаксис, 207, 212 и др.; см. также: Lambert 1978, 246). Таким образом, *διάθεσις* и *ἔγκλισις* противопоставлены друг другу как grammatische значение и grammatische форма. Кроме того, некоторые контексты из «Синтаксиса» Аполлония позволяют сделать вывод о том, что *διάθεσις*, в отличие от понятия *ἔγκλισις*, является характеристикой всего высказывания, а не отдельного глагола. Например, Аполлоний пишет: *δυνάμει αὐτὸ τὸ ρῆμα οὕτε πρόσωπα ἐπιδέχεται οὕτε ἀριθμούς, ἀλλὰ ἐγγενόμενον ἐν πρόσωποις τότε καὶ τὰ πρόσωπα διέτειλεν. προῦπτον δὲ ὅτι οὕτε ψυχικὴν διάθεσιν «Глагол сам по себе не имеет ни лиц, ни чисел, но лишь случаясь с лицами, тогда и начинает различать лица. Ясно, что [он не содержит в себе] и душевного расположения»* (Синтаксис, 32). Ту же мысль Аполлоний повторяет и в другом месте трактата: *ἀλλ' οὐδὲ ψυχικὴν διάθεσιν τὸ ρῆμα ἐπιδέχεται, πάλιν γὰρ τὰ μετειληφότα πρόσωπα τοῦ πράγματος τὴν*

ἐν αὐτοῖς διάθεστν ὄμολογεῖ διὰ τοῦ ρῆματος «Глагол не содержит в себе и душевного расположения; ведь это лица, принимающие участие в действии, выражают свое внутреннее расположение с помощью глагола» (Там же, 229).

У Аполлония мы встречаем несколько случаев сопоставления глагольного наклонения и типа высказывания. С одной стороны, грамматик подчеркивает различие между этими двумя понятиями. Так, например, рассматривая желательное наклонение, он утверждает, что значение оптатива может быть выражено не только глагольной формой (*εὐκτικὴ ἔγκλισις*), но и оптативной частицей *εἴθε*. В качестве примера Аполлоний приводит высказывания с глаголами в форме индикатива, превращающиеся в желательные благодаря частице *εἴθε*: ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ εἴθε ἔγραψε Τρύφων, εἴθε ἐλάλτρε καὶ ἐπ τῶν τοιούτων δῆλον ὅτι ἐν τῷ δέοντι παράκειται τὸ εἴθε, ἵνα ἡ ὄριστικὴ ἔγκλισις διὰ τοῦ παρακειμένου εὐκτικοῦ ἐπιρρήματος εὐκτικήν σύντοξην ἀναδεξῆται «Что касается высказываний “О если бы Трифон написал!”, “О если бы он сказал!” и подобных им, совершенно очевидно, что частица помещена в них вполне правильно, для того чтобы изъявительное наклонение глагола благодаря приложенной к нему частице стало выступать в желательной конструкции» (Там же, 247). Итак, хотя обычно глагольное наклонение определяет тип высказывания, тем не менее модальный характер высказывания может быть выражен с помощью других частей речи.

С другой стороны, Аполлоний несколько раз практически отождествляет категорию наклонения и тип высказывания, расширяя таким образом значение термина *ἔγκλισις*. Например, он сообщает, что изъявительное наклонение (*όριστικὴ*) называется иногда словом *ἀποραντικὴ* (Там же, 244) — термином, который обозначает повествовательное высказывание. Кроме того, Аполлоний упоминает о существовании особого вопросительного наклонения: *ἡ δὴ αὖ ὄριστικὴ ἔγκλισις τὴν ἐγκειμένην κατάφασιν ἀποβάλλουσα μεθίσταται καὶ τοῦ καλεῖσθαι ὄριστική*. *εἰς γὰρ ἐπερώτησιν τῶν πραγμάτων ἐγχωρεῖ, ἥνικα φαμὲν γέγραφας; λελάληκας;...* *καὶ γίνεται οὕτως ἡ ἐπερώτησις. ἀναπληρωθεῖσα δὲ διὰ τῆς καταφάσεως ὑποστρέφει εἰς τὸ εἶναι ὄριστική* «Изъявительное наклонение иногда лишается заложенного в нем утверждения и своего права называться изъявительным. Ведь оно может входить в вопросительные высказывания, например, когда мы говорим “Ты написал?”, “Ты сказал?”... И таким образом получается вопрос. Когда же оно вновь заполняется утверждением, оно опять превращается в изъявительное» (Там же, 246–247). Итак, хотя форма глагола одна и та же и в утвердительных, и в вопросительных высказываниях, Аполлоний утверждает, что мы имеем дело с двумя разными наклонениями, считая синтаксическую характеристику глагола (т. е. его употребление в вопросительной конструкции) более важной для определения наклонения, нежели морфологическую.

Сложно дать достаточно определенный ответ на вопрос, когда и кто именно начал смешивать понятия наклонения и типа высказывания, равно как и на вопрос, кто впервые определил категорию глагольного наклонения. Есть некоторые свидетельства того, что эта категория возникла в стоической грамматике (см.: Pinborg 1975, 90), или, вернее, что стоики начали различать типы значений, которые впоследствии стали обозначаться категорией наклонения. В стоическом учении повествовательное высказывание (*ᾶξιον*) обычно связывается с индикативом, приказание — с императивом, желание — с оптативом и т. д. Эта ассоциация подчеркивается более поздними грамматиками; см.: Варрон «О латинском языке» X 31 (Goetz et Schoel 1964); Марциан Капелла IV 391сл. Так что не исключено, что понятие наклонения возникает из учения о типах высказываний и что связь между этими двумя понятиями в позднейшей грамматической литературе не является вторичной, а отражает происхождение понятия наклонения.

В мнении о том, что смешение наклонений с типами высказываний восходит к стоикам, сходятся различные исследователи, занимавшиеся стоической теорией языка: «Строго говоря, грамматическое понятие о наклонениях... чуждо стоикам. Они рассматривают не глагольные формы, а типы предложений, и это рассмотрение служит у них целям логического анализа суждения» (Steinthal 1890, I 317). «Стоики занимались категорией наклонения, но здесь более, чем где бы то ни было, формальные разграничения поставлены в один ряд с разграничениями между типами предложений, в которых могут быть использованы одинаковые глагольные формы» (Robins 1951, 34).

Это предположение подтверждается свидетельствами некоторых византийских грамматиков. Так, именно к стоикам, по-видимому, относится замечание Херовоска: δεῖ γάρ γινώσκειν ὅτι οἱ φιλόσοφοι ἄλλας δύο ἔγκλισεis μετὰ τὰς ε' προστίθεασι, φημὶ δὲ τὴν ὑποθετικὴν καὶ τὴν ἐρωτητικὴν καὶ τὴν μὲν ἐρωτητικὴν οὐ δεχόμεθα, ἐπειδὴ πᾶσα λέξις ἐρώτησιν δέχεται... ἀτοπὸν γάρ ἐστι τὴν ἐν παντὶ μέρει λόγου εὑρίσκομέντην εἰπεῖν ἔγκλισιν εἶναι ρήματος. «Следует знать, что философы добавляют к пяти наклонениям [по Дионисию] еще два: я имею в виду "предположительное" и "вопросительное". "Вопросительное" наклонение мы не принимаем, потому что любая часть высказывания может содержать в себе вопрос... а странно называть наклонением глагола то, что можно найти в каждой части высказывания» (II 740 Gaisford; III 1178 Bekk.). Здесь мы встречаемся со стремлением философов (стоиков) рассматривать категорию наклонения шире, нежели только как глагольную акциденцию (ср διάθεσις у Аполлония — описывающий высказывание, а не глагол), и сопротивлением такой трактовке со стороны грамматика, опирающегося на учение Дионисия Фракийского и ограничивающего понятие наклонения глагольной морфологией.

Итак, нам представляется, что в славянском тексте отражена древняя синтаксическая трактовка категории наклонения,

встречающаяся у ранних грамматиков (Стоя, Аполлоний Дискол) и впоследствии под влиянием «Грамматики» Дионисия Фракийского замененная на морфологическую.

5б6–13. **кѣсть же и другою изложеникъ, юже зоветъ се нешавинъ. не бо можетъ изыави(т) само  $\omega$  сеєвъ лица ли врѣмене ли залога иже ино какъ послѣдующи(х) рѣчи. сего ра(д) к(с) кг(д)а и иже нарещаютъ се, тѣмъ же и различникъ имену приимлють. яко же се. юже чисти пользно. юже гости потрѣбно. юже играти үкорно.**

**5б22. (нешавинок)  $\omega$  сеєвъ къ изложению силы не имать.**

В славянском тексте **нешавинок изложеник**, т. е. инфинитив (греч. *ἀπαρέμφατος*), противопоставляется всем прочим «изложениям», в то время как в греческих грамматиках инфинитив входил в число пяти наклонений (*ἐγκλίσεις*) (см. например: «Грамматика» Дионисия, 638). Если принять наше предположение о том, что славянский термин воспроизводит греч. *διάθεσις*, а не *ἐγκλίσις*, то тогда становится понятной такая трактовка инфинитива в нашем памятнике. Согласно Аполлонию Дисколу, понятия *διάθεσις* и *ἐγκλίσις* не совсем параллельны друг другу: если у индикатива, императива, конъюнктива и оптатива (т. е. у четырех из пяти глагольных наклонений, *ἐγκλίσεις*) существуют соответствующие «душевые расположения» (*διάθεσις*), то инфинитив представляет собой только глагольную форму, *ἐγκλίσις* без *διάθεσις* (ср. в славянском тексте:  $\omega$  сеєвъ къ изложению силы не имать). В этом отношении весьма показательно следующее утверждение Аполлония: (*τὸ ἀπαρέμφατον*) οὐκ ἔχει ψυχικὴν διάθεσιν, ὅτι μῆρε εἰς πρόσωπα ἀνεκκλίθη, ἀ περ ἐμψυχα ὄντα τὴν ἐν αὐτοῖς διάθεσιν τῆς ψυχῆς ἐπαγγέλλεται «Инфинитив не содержит в себе душевного расположения, так как он не указывает на лица, которые, будучи одушевленными, выявляют [в глаголе] свое душевное расположение» (Синтаксис, 31).

Инфинитив лишен как «душевного расположения», так и некоторых других характеристик глагола. Об этом говорят и славянский автор, и Аполлоний: *ἔλλείτει* (*τὸ ἀπαρέμφατον*) *πρόσωποις καὶ ἀριθμοῖς καὶ ψυχικῇ διαθέσει* «инфинитив лишен лиц, чисел и душевного расположения» (Там же; ср.: Синтаксис, 229). Вслед за Аполлонием ту же мысль высказывает Херовоск: *ἡ ἀπαρέμφατος ἐκ τοῦ μὴ παρεμφάνειν ἥγουν ἐκ τοῦ μήτε πρόσωπα σπουδάνειν μήτε ἀριθμοὺς μήτε θέλημα ψυχῆς* «Инфинитив (*ἀπαρέμφατος*) [называется этим словом], так как он не показывает (*μὴ παρεμφάνειν*), т.е. не обозначает, ни лиц, ни чисел, ни желания души» (II 788 Gaisford; Ягич 1896, 71). Стоит заметить, правда, что автор славянского трактата ошибочно утверждает, что инфинитив не имеет никаких глагольных акциденций, хотя в действительности инфинитив не обозначает только лица и числа (см.: Ягич, там же).

В нашем памятнике сообщается также, что инфинитив иногда употребляется вместе с артиклем и в этом случае становится именем.

Идею о том, что инфинитив представляет собой некую промежуточную форму между именем и глаголом мы встречаем в «Синтаксисе» Аполлония: πᾶν ἀπαρέμφατον ὄνομά ἔστι ρῆματος «всякий инфинитив представляет собой имя глагола» (31). Более подробное объяснение предлагает византийский грамматик Гелиодор, находившийся под сильным влиянием Аполлония: τὸ ἀπαρέμφατον ὄνομά ἔστι τὸ πράγματος καὶ αὐτὸ σημαίνει τὸ πράγμα τὸ μήπω ἐπιτεσδὲ εἰς ψυχὴν ὅθεν ἡγίκ<sup>7</sup> ὅν βουλθῶμεν αὐτὸ τὸ πράγμα ὄνομάσαι καὶ μῆ εἰς ψυχὴν αὐτὸ ἐνστέρειν, λέγομεν τὸ γράφειν καλόν ἔστι, τὸ ἀναγιγνώσκειν ὠφέλιμον ὑπάρχει μετὰ τοῦ ἄρθρου αὐτὸ προφέροντες ὡς ὄνομα τυγχάνον τὸ πράγματος «Инфинитив является именем действия и обозначает действие само по себе, не попадающее в душу. Поэтому, когда мы собираемся назвать само действие, не внося его в душу, мы говорим: "писать хорошо", "читать полезно", — произнося инфинитив с артиклем, так что он оказывается именем действия» (Sch. 72). В данном фрагменте Гелиодора один из примеров употребления инфинитива с артиклем в значении имени буквально соответствует одному из примеров, приводимых в тексте славянского трактата: τὸ ἀναγιγνώσκειν ὠφέλιμον ὑπάρχει = *кже чисти пользно* (см.: Ягич 1896, 71).

5б13—ба1. кромъ же различна глагољ нешавно, съ инициј же честим слово съставляемо бываєть имену или рѣчи већь исплькающи съвѣтъ дше. яко се. повелѣваю ти юнги. повелѣваю рѣчъ к(с). ти, мѣстонимене. юнги нешавно. да ѿш рѣчъ и име, ли мѣстонимене трѣбуютъ нешавнаго къ исплькнину съвѣтта дше, сего ра(д) нешавнокъ вѣчте се съ изложеними аще и ѿ съвѣтъ само къ изложению силы не иматъ. тѣмже и наре[ч] се нешавнокъ.

Согласно точке зрения Ягича, в данном фрагменте идет речь о том, что инфинитив делает законченной конструкции при глаголе, обозначающем волеизъявление. Он приводит следующие параллели из Херовоска (Ягич 1896, 71):

τὰ ἀπαρέμφατα παραλαμβάνονται ἀνευ συνδέσμου μετὰ ρῆματος καὶ ἀποτελοῦσι τέλειον λόγου «Инфинитивы сочетаются без союзов с глаголом и создают законченное высказывание» (II 474 Gaisford);

ταῦτα (ρῆματα), λέγω δὴ τὸ θέλω καὶ βούλομαι καὶ προαιροῦμαι καὶ τὰ ὅμοια, ἔχουσι πρόσωπα, ἔχουσι ἀριθμούς, πράγματι δὲ μόνοι ἐλλείπουσι «Эти глаголы (я имею в виду "хотеть", "желать", "предпочитать" и подобные им), содержат желание души, содержат лица, содержат числа, и им недостает только действия» (Там же, 475);

εἴ τι οὖν λείπει τοῖς ἀπαρεμφάτοις, ἀναπληροῦται διὰ τούτων, καὶ εἴ τι λείπει τούτοις, ἀναπληροῦται διὰ τῶν ἀπαρεμφάτων, καὶ ὡς ἔστιν εἰπεῖν, ἐκάτερον δι' ἐκατέρου

ἀναπληροῦται «Если чего-то недостает инфинитивам, то оно восполняется благодаря этим глаголам, и если чего-то недостает этим глаголам, то оно восполняется благодаря инфинитивам, так что можно сказать, одно восполняется благодаря другому» (Там же).

Итак, инфинитив обозначает только действие, не имея при этом лица, числа и наклонения («желания души»). С другой стороны, существуют глаголы, обладающие всем тем, чего лишен инфинитив, но не обозначающие действия: такие, как θέλω, βούλομαι и т. д., то есть модальные глаголы. Таким образом, они и инфинитивы дополняют друг друга и в сочетании друг с другом образуют законченное высказывание.

Эта идея восходит к Аполлонию Дискулу. Разбирая конструкции с модальными глаголами, Аполлоний пишет: ἀ δὲ (*τῶν πιμάτων*) αὐτὸ μόνον προσίρεστιν ψυχῆς ὄριζεται, ἐλλείποντα τῷ πράγματι, ὡς τὸ θέλω, βούλομαι, προθυμοῦμαι, ἀ δὴ ὥσπερει κενὰ ὄντα ἀναπληροῦται τῇ τοῦ πράγματος παραθέσει, ὅ περ οὐκ ἄλλο τί ἔστιν ἢ τὸ... ἀλαρέμφατον... θέλω περιπατεῖν, βούλομαι γράψειν «Некоторые из глаголов обозначают только волю души, не указывая при этом на действие, как, например, "хотеть", "желать", "предпочитать". Эти глаголы, будучи словно пустыми, заполняются благодаря присоединению действия, что есть не что иное, как инфинитив: "Я хочу гулять", "Я желаю писать"» (Синтаксис, 228–229).

На первый взгляд, славянский текст действительно оказывается близким данным фрагментам из Херодота и Аполлония. Первая фраза из рассматриваемого нами славянского отрывка (*неизвестно выважить имену или речи вещь испытывающи съевть дше*) практически буквально соответствует словам греческих грамматиков: *вещь* передает греч. πράγμα; *испытывающи* похоже на перевод греч. ἀναπληρό (или ἀποτελέσθαι); *съевть дше* воспроизводит не совсем верно понятое βούλημа ψυχῆς (примерно то же, что и θέλημа ψυχῆς у Херодота).

Однако стоит обратить внимание на некоторые различия между этими текстами. Во-первых, не совсем понятно упоминание об имени во фразе *съставляемо выважить имену или речи*. Если речь здесь идет о модальных глаголах, то автору следовало бы ограничиться словами о соединении инфинитива с глаголом. Во-вторых, в примере, приводимом в славянском тексте, мы не находим ожидаемого глагола желания, который соответствовал бы греческим θέλω, βούλομαι и пр. Вместо этого мы встречаем конструкцию *повелеваю ти бити* с глаголом, соответствующим названию одного из «изложений» (*повелениик*).

Подобные примеры приводятся и у Аполлония, однако в контексте рассуждений не о модальных глаголах, а о трансформациях наклонений в инфинитивные конструкции. Согласно Аполлонию, инфинитив представляет собой родовое имя глагола, так как в него способно обращаться любое наклонение (ὡς ἐπὶ γελικὸν ὄνομα τὸ ἀλαρέμφατον πᾶσα ἔγκλισι ὑποστρέφει. — Синтаксис, 131). Такая трансформация

происходит, когда глагол в форме того или иного наклонения заменяется инфинитивом, к которому присоединен глагол, выражающий значение наклонения: например, высказывание с глаголом в изъявительном (*όριστική*) наклонении *περίπατεῖ* Тρύφων «Трифон гуляет» можно преобразовать в конструкцию *ώρισατο περίπατεῖν* Тρύφωνа «Он изъявил, что Трифон гуляет», заменив личную форму глагола (*περίπατεῖ*) на инфинитив (*περίπατεῖν*) и вставив глагол, соответствующий названию наклонения (*όριστική* — *ώρισατο*). Подобные примеры Аполлоний приводит и для остальных наклонений:

повелительное (простактикή): *περίπατείτω* Трύφων «Пусть Трифон гуляет» > *просέταξε περίπατεῖν* Трύφωна «Он повелел, чтобы Трифон гулял»;

желательное (εὐκτική) *περίπατοίη* Трύφων «О если бы Трифон гулял» > *τρέχατο περίπατεῖν* Трύφωна «Он пожелал, чтобы Трифон гулял».

Пример, приводимый в славянском тексте (повелеваю ти бити), оказывается аналогичным примеру Аполлония на трансформацию повелительного наклонения (просетаξε περίπατεῖν Трύφωна). Кроме того, можно заметить, что Аполлоний рассматривает не просто преобразования глагольных форм, а преобразования высказываний, что связано с синтаксической характеристикой категории наклонения. Точно так же и в славянском памятнике: наш автор сначала говорит о соединении инфинитива не только с глаголом, но и с именем, и затем, разбирая высказывание *повелеваю ти бити*, вновь указывает, что *τέλη* и *име, ли местомене трапезують несбавнаго*.

Наиболее близкой параллелью славянскому тексту является следующий фрагмент из Аполлония: φυσικώτερον δέ πως καὶ ψυχικῆς διαθέσεως ἡ ἔγκλισις ἀμοιρήσασα οὐκ ἐμποδίζεται καὶ πασῶν ἔγκλισεων παραλαμβάνεσθαι, προστιθεμένου τοῦ ἴδιωματος τῆς ἔγκλισεως, καὶ πάλιν πᾶσαν ἔγκλισιν εἰς ταύτην ὑποστρέψειν. τὸ γάρ γράφε δύναται ἵσον εἶναι τῷ γράφειν σοι προστάσσω, ἀναγκαίως καὶ τοῦ προστάσσειν ἔγκειμένου καὶ τοῦ ἀντωνυμικοῦ «Совершенно естественно, что эта форма [т. е. инфинитив], будучи лишенной душевного расположения, вполне способна употребляться вместо любого наклонения, если к ней присоединяется слово — показатель наклонения, и с другой стороны, любое наклонение способно превращаться в инфинитив. Ведь высказывание "Пиши" тождественно высказыванию "Я призываю тебе писать": [в этом случае] мы обязательно прибавляем глагол "призывать" и местоимение» (Синтаксис, 207). В этом фрагменте мы встречаем, во-первых, пример, который очень похож на пример, приводимый в славянском тексте (*γράφειν σοι προστάσσω* — *повелеваю ти бити*), и во-вторых, замечание о необходимости присоединять к инфинитиву местоимение или имя, указывающее на действующее лицо.

Мы можем сделать вывод о том, что в данном случае славянский автор рассматривает не соединение инфинитива с модальными глаголами, а конструкции с инфинитивом, имеющие то же значение, что и то или иное наклонение глагола. Именно эта способность инфинитива заменять собой какое-либо наклонение позволяет, с точки зрения нашего автора, причислить инфинитив к «изложениям». Как и все прочие фрагменты славянского текста, относящиеся к описанию изложения, данный фрагмент обнаруживает особую близость грамматической теории Аполлония Дискола.

Итак, по крайней мере часть памятника обнаруживает удивительную близость грамматической теории Аполлония Дискола, которую принято считать малопопулярной в средневековой Греции. Некоторые параллели между славянским текстом и сочинениями Аполлония уникальны: славянский автор порой воспроизводит такие идеи Аполлония, которые крайне редко встречаются в византийских грамматических трактатах. Следовательно, ориентированное на синтаксис грамматическое учение Аполлония Дискола стало известно славянам, жившим на периферии греческого культурного мира, практически в то же время, что и «Грамматика» Дионисия Фракийского. Этот вывод является еще одним аргументом в пользу необходимости пересмотреть наши представления о содержании средневековой греческой грамматики.

### Литература

- Булич 1904 — Булич С. К. Очерк истории языкоznания в России (XIII в. — 1825 г.). СПб., 1904. Т. 1.
- Гринцер 1991 — Гринцер Н. П. Теория синтаксиса в становлении античной грамматической традиции. Автореф. канд. дисс. М., 1991.
- Жуковская 1982 — Жуковская Л. П. Барсовский список грамматического сочинения "О восьми частях слова" // Східнослов'янські граматики XVI—XVII ст. Київ, 1982.
- Кузнецов 1958 — Кузнецов П. С. У истоков русской грамматической мысли. М., 1958.
- Сиромаха 1979 — Сиромаха В. Г. Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и "Грамматика" М. Смотрицкого // Вестник МГУ. Сер 9. 1979. №1.
- Успенский 1994 — Успенский Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI—XVII вв.) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура. М., 1994 (первое изд. в сб.: Литература и искусство в системе культуры. М., 1986).
- Ягич 1896 — Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке (Codex slovenicus regum grammaticarum). СПб., 1896 (переизд.: München, 1968).

Ягич 1910 — Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910.

Bachmann — Bachmann L. Anecdota graeca. Vol. 1–2. Lipsiae, 1828.

Bekk. — Bekker I. Anecdota graeca. Vol. 1–3. Berolini, 1814–1821.

Bekker 1817 — Apollonii Dyscoli de constructione orationis. Ed. I. Bekker. Berolini, 1817.

Biedermann 1971 — Biedermann J. Die russische grammatische Terminologie — Morphologie. Von den Anfängen bis Lomonosov. Gießen, 1971.

di Benedetto 1959 — Benedetto, V. di. Dionysio Thrace e la Techne a lui attribuita // Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, storia e filosofia. 1958, 27; 1959, 28.

DL — Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers (with an English transl. by R. Hicks). Vol. 1–2. London — Cambridge, Mass., 1925–1938.

Freidhof 1972 — Freidhof G. Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius-Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580–1581). Frankfurt am Main, 1972.

Freidhof 1984 — Freidhof G. Problems of glossality in newly translated parts of the Gennadius and Ostrog Bibels of 1499 and 1580–1581 // California Slavic Studies, v. 12. Berkeley — Los Angelos — London, 1984.

Gaisford — Georgii Choerobosci dictata in Theodosii canones. Ed. Th. Gaisford. Oxonii, 1842. T. 1–2.

Goettling — Pseudo-Theodosii de grammatica. Ed. K. W. Goettling. Lipsiae, 1822.

Goetz et Schoel 1964 — M. Terentii Varronis de lingua latina quae supersunt. Rec. G. Goetz et F. Schoell. Amsterdam, 1964.

Hilgard 1894 — Theodosii Alexandrini canones. Georgii Choerobosci scholia. Sophronii patriarchae Alexandrini excerpta. Rec. A. Hilgard. Lipsiae, 1894. Vol. 1–2.

Hjelmslev 1935 — Hjelmslev L. La catégorie de cas // Acta Jutlandica. 1935. 9. Aarhus.

Householder 1981 — Householder F. The Syntax of Apollonius Dyscolus (transl., comm., introduct. p. 1–17). Amsterdam, 1981.

Hülser — Hülser K. Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker. Stuttgart, 1987–1988. Bd. 1–4.

Jelitte 1972 — Jelitte H. Altrussische Traktate über die Sprache (Thematik, Methodik, Therminologie) // Die Welt der Slaven. 1972. XVII. H. 1.

Jenkins 1963 — Jenkins R. J. H. The Hellenistic Origins of Byzantine Literature // Dumbarton Oaks Papers, 1963. 17.

- Lambert 1978 — *Lambert F.* Le terme et la notion de διάθεσις chez Apollonius Dyscole // Varron, grammaire antique et stylistique latine. P., 1978.
- Mango 1975 — *Mango C.* Byzantine Literature as a distorting Mirror. Oxford, 1975.
- Miklosich 1862–1865 — *Miklosich F. von.* Lexicon palaeoslovenico-graeo-latinum. Wien, 1862–1865.
- Pinborg 1975 — *Pinborg J.* Classical Antiquity: Greece // Current Trends in Linguistics. Vol. 13. Historiography of Linguistics. The Hague — Paris, 1975.
- Robins 1951 — *Robins R.* Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe. London, 1951.
- Robins 1974 — *Robins R.* The Case Theory of Maximus Planudes // Proceedings of the 11th International Congress of Linguists in Bologna, 1972. 1974, Vol. 1.
- Schneider — Apollonii Dyscoli scripta minora. Ed. *R. Schneider*. Lipsiae, 1878.
- Sch. — Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam. Rec. *A. Hilgard*. Lipsiae, 1901. Vol. 1–2.
- Steinthal 1890 — *Steinthal H.* Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern mit besonderer Berücksichtigung der Logik. Berlin, 1890–1891.
- SVF — Stoicorum veterum fragmenta. Coll. *Iab Arnim*. Lipsiae, 1921–1924. Vol. 1–4.
- Uhlig 1883 — Dionysis Thracis ars grammatica. Ed. *G. Uhlig*. Lipsiae, 1883.
- Weiher 1977 — *Weiher E.* Die älteste Handschrift des grammatischen Traktats "Über die acht Redeteile" // Anzeiger für slavische Philologie. 1977. IX. №2.
- Worth 1983 — *Worth D. S.* The Origins of Russian Grammar. Columbus, 1983.

**Доктринальные источники  
«Сказания о письменах»  
Константина Философа Костенецкого**

«Сказание о письменах» Константина Философа Костенецкого, выдающегося сербского книжника начала XV в. болгарского происхождения, по праву рассматривается в научной литературе как один из важнейших источников сведений о средневековой книжно-письменной культуре православных славян и, в частности, о той интенсивной критико-филологической деятельности по обновлению церковной книжности, которая во второй половине XIV — начале XV в. велась славянскими книжниками в болгарских и сербских землях, монастырях Афона и других центрах византийско-славянского духовного и культурного общения (Мечковская, Супрун 1991, 141сл.; Goldblatt, 1984, 71; Goldblatt 1981, 126–127 et sq.).

Составленное, скорее всего, в Белграде в 1424–1426 гг. (во всяком случае, не ранее конца 1423 и не позднее июля 1427 года), «Сказание о письменах», по замыслу его автора, должно было изобразить перед сербским despотом Стефаном Лазаревичем одиннадцать «развращений» (преимущественно орфографического характера), существовавших тогда, по убеждению Константина, в сербской церковной письменности. Раскрывая их последствия, губительные для земного благополучия и душевного спасения самого Стефана Лазаревича и его подданных, Константин Костенецкий рассчитывал добиться официальной поддержки со стороны despota для предлагаемой в том же «Сказании...» программы мер по исправлению создавшегося положения<sup>1</sup>. И хотя предложения Константина принятые не были, все же, в качестве лица, сведущего в церковнославянской письменности, он, по всей вероятности, именно благодаря своему выступлению, приобрел у сербского патриарха «кир Никона» и «прочих избранных» лиц Сербской Деспотовины столь выдающийся авторитет, что именно ему они

<sup>1</sup> «Сказание о письменах» сохранилось в единственном списке середины XVII в., который представляет собою отдельную рукопись и в настоящее время хранится в Патриаршей библиотеке в Белграде (N 129). По этой рукописи оно и было полностью издано впервые В. Ягичем (Ягич 1895, 383–487), а в недавнее время К. Куевым и Г. Петковым (Куев, Петков 1986, 82–224).

Об обстоятельствах возникновения «Сказания...», его содержании и существующих вариантах его интерпретации см. напр.: Лукин 1994; Goldblatt 1987.

поручили составление жития умершего в 1427 г. Стефана Лазаревича («Житие...». XCIII. — Киев, Петков 1986, 361–362, 423–424). Так или иначе, в связи с этим обращает на себя внимание одно очень важное обстоятельство. Именно — в то время как сам автор «Жития Стефана Лазаревича», надписывая этот своеобразный посмертный дар своему высокому покровителю, представляется своим читателям как «переводчик» (Киев, Петков 1986, 337, 425)<sup>2</sup>, переписчик переведенных им Толкований Феодорита Киррского на библейскую книгу Песнь Песней (Никольский список) и неизвестный автор так называемых «Словес вкратце» называют его «философом» и «учителем» (Киев, Петков 1986, 290, 542)<sup>3</sup>. Думается, что это различие в именовании — не простая случайность. И что его можно рассматривать как свидетельство того, что наибольшей значимостью для позднейшей традиции и, вероятно, уже для младших современников Константина обладали не его переводы, но его полемическая и учительная деятельность, своеобразным манифестом которой и стало «Сказание о письменах». Причем не столько в том, что можно было бы назвать ее прагматическим аспектом (где выступление Константина не привело к тем результатам, на которые он рассчитывал), сколько в аспекте, если можно так выразиться, теоретическом, доктринальном. Изложенные в «Сказании о письменах» взгляды на природу и достоинство церковной письменности оказались до такой степени согласны с собственными представлениями об этом предмете его аудитории, что не только сохранили за Константином расположение Стефана Лазаревича, но и доставили ему славу «философа» и «учителя».

Однако, восстановление этих взглядов — хотя бы в главных чертах — сопряжено с немалыми трудностями. В очень большой степени это обусловлено жанровым своеобразием самого «Сказания о письменах», которое отнюдь не является ни ученым трактатом, ни нормативным руководством по церковнославянской грамматике или орографии. Сам Константин Костенецкий называет свое сочинение «Сказание изъявленно...» и говорит о нем как об «обличении», а не «типике» или «эротимате» («Сказание...». II, XI, XXXI, XXXVIII. — Киев, Петков 1986, 94, 133, 195, 219; Ягич 1895, 392, 419, 462, 484)<sup>4</sup>. В сущности, оно пред-

<sup>2</sup> Относительно содержания употребленного Константином Костенецким термина «преводникъ» высказывались различные мнения (*traducens?* *interpres?*). См., в частности: Goldblatt 1987, 47 (н. 28); Киев, Петков 1986, 19; Киселков 1956, 273; Күjew 1950, 16; Трифонов 1943, 245; Трифонов 1940, 47.

<sup>3</sup> Подробнее об этих памятниках см., в частности: Goldblatt 1987, 79–97; Киев, Петков 1986, 241–289; Трифоновић 1974, 257–261; Трифоновић 1971, 86–90.

<sup>4</sup> Разумеется, «типикъ» — это не монастырский устав (*тομικόν*), а краткое нормативное руководство по орографии. «Эротиматой» же (*ἐρωτηματα*) Константин называет пространное руководство по грамматике в форме вопросов и ответов. Такие руководства (авторами которых были Мануил Мосхопул, Мануил Хрисолора, Димитрий Халкокондил и другие известные лица) широко распространяются в ви-

ставляет собою своеобразную докладную записку, поданную деспоту Стефану Лазаревичу после предварительного представления («Сказание...». I. — Киев, Петков 1986, 89; Ягич 1895, 388). Изобличая перед деспотом «развращения», угрожающие сохранности церковной книжности в Сербии, Константин не испытывает нужды в подробном, последовательном, изложении и аргументации своих взглядов. Подразумевается, что это легко сделают сами высокопоставленные и высокообразованные читатели «Сказания...», сообразуясь при этом с канонами традиционной византийско-православной образованности, в которой они были воспитаны сами, и на которую им достаточно лишь указать. В этом отношении «Сказание о письменах» можно уподобить вершине своеобразного «айсберга»: нескольких слов, образов, библейских и святоотеческих цитат, которые обращает к своей аудитории Константин «Философ Костенецкий и Учитель Сербский», оказывается вполне достаточно для того, чтобы напомнить ей о соответствующих компонентах традиции. Последние же, в свою очередь, оставаясь невыявленными, составляют, тем не менее, подлинную доктринальную основу «Сказания о письменах», как бы его внутренний стержень, скрепляющий его в единое целое, и задают своего рода «систему координат», в которой его следует интерпретировать. В рамках этой системы реальная значимость нескольких или даже одного высказывания в действительности оказывается много выше, чем это может показаться на первый взгляд. Таким образом, без учета этой скрытой доктринальной основы обличения Константина Костенецкого становится невозможно ни предпринять сколько-нибудь полное изложение его взглядов на природу и достоинство церковнославянского языка и письменности, ни, следовательно, надлежащим образом оценить их место и роль в истории грамматической мысли православных славян в эпоху Средневековья.

Определить и раскрыть (разумеется, только до известной степени) важнейшие компоненты этой основы (или, если можно так выразиться, доктринальные источники) рассуждений Константина Костенецкого, — такую задачу и ставит перед собой автор настоящей статьи.

Прежде всего, отметим, что в современной научной литературе широко распространено мнение о том, что для Константина Костенецкого язык и знаки церковнославянской письменности представляли абсолютную религиозную ценность, были религиозно значимы сами по себе, выступая в качестве неотъемлемой составной части богооткровенной религиозной истины. Высказанное впервые (насколько нам известно) Д. С. Лихачевым в его известном докладе о задачах изучения второго

---

взантийской письменности начиная с XII в. Подробнее см. об этом, в частности: Гаврилов 1985, 135; Hunger 1978, 14.

Сам Константин Костенецкий наибольшим авторитетом наделяет «эротимату» Мануила Мосхопула, которой, как он полагает, прежде других обязана своим образцовым состоянием византийская церковная письменность («Сказание...». II. — Киев, Петков 1986, 94; Ягич 1895, 392).

южнославянского влияния в России (Лихачев 1958, 19–22), это мнение уже давно стало устойчивым историографическим клише и переходит из одной работы в другую, причем далеко не всегда его сопровождают цитаты или хотя бы ссылки на то или иное место в тексте самого «Сказания о письменах».<sup>5</sup>

Между тем внимательное чтение самого «Сказания...» дает возможность усомниться в справедливости этого мнения. Так, в частности, Константин Костенецкий, разъясняя причины своего выступления, отнюдь не сводит их исключительно к орфографическому «развращению» сербской церковной письменности как таковому. Напротив, это «развращение» беспокоит его лишь постольку, поскольку оно угрожает целости и сохранности этой письменности. Искажение текстов сербских церковнобогослужебных книг вследствие орфографической «развращенности» переписчиков — вот что тревожит его на самом деле. Это «оутвръждения ради б(о)ж(е)ст(ь)вных писаний» готов умереть Константин Костенецкий («Сказание...». I. XXXVIII. — Куев, Петков 1986, 90, 219; Ягич 1895, 389, 484). И ради них предпринимает он свое весьма и весьма рискованное выступление, как явствует это из полного названия его обличения: «Сказание изъявленно о писменех, како дръжати се, да не преложением сих рас'тlevаются б(о)ж(е)ст(ь)внаа писания» (Куев, Петков 1986, 88; Ягич 1895, 387). Ибо «кое ли б(о)ж(е)ст(ь)вных писаний нес(ть) издано; нь сих неведениемъ въсегда растlevаются» («Сказание...». Предисловие. — Куев, Петков 1986, 83; Ягич 1895, 383).<sup>6</sup>

—

<sup>5</sup> См., в частности: Мечковская, Супрун 1991, 143–144; Goldblatt 1984, 75; Picchio 1980, 24; Матхаузерова 1976, 40.

Пожалуй, с наибольшей прямотой и полнотой это мнение высказано в работах Р. Пиккио и Х. Гольдблatta. Сущность лингвистических взглядов Константина Костенецкого и других славянских книжников его круга, пишет, в частности, Р. Пиккио, «... заключалась в отождествлении лингвистических знаков с графическими. Поскольку священный язык рассматривался в качестве инструмента Божественного Откровения, различия между физическим и духовным аспектами откровенных знаков были недопустимы ... Все откровенные знаки, включая графические знаки Св. Писания, были не просто символами, но составными частями самой истины» (Picchio 1980, 24). Не менее категорично и заключение Х. Гольдблatta: «В том, что касается лингвистической концепции Константина, трудно преувеличить значение характерного для нее отождествления графических знаков с лингвистическими формами, т. е. преимущественно графического облика языка. "Орфографические" знаки, составляющие совершенный язык Откровения, следовало решительно отличать от несовершенных знаков, изобретенных самим человеком, а их условность (arbitrariness) могла быть преодолена через присутствие в св. тексте божественного духа, которое делало каждый знак "иконой истины"» (Goldblatt 1984, 75).

<sup>6</sup> См. также: «Сказание...». III. XXXVIII. XL (Куев, Петков 1986, 98, 219, 223; Ягич 1895, 395, 484, 486).

Не менее замечательны (хотя и в несколько ином отношении) и рассуждения Константина об употреблении титла: «Что же ес(ть) титла; тъчию белегъ г(лаго)лоу, съдръжеи писмена под собою, ради объявления великиым г(лаго)лом. ... есть же и сия ~~—~~ от гръкъ къ намъ съ прочими издана, имее по главним г(лаго)лом съдръжание» единую виною, да издалече г(лаго)ль вес(и)се кои ес(ть), ради претыкания не быти» другою же, да не въсоуе въ вещ' шии троуд простираемсе, малем могоуще сих изъявити. ... идежъ хощеши рещи "бгou", аще речеши "бou", ничтохъ съгрешаши, или "двдоу" "дду", или "члвкъ" "члкъ", или "блгдтъ" "блдтъ", или "бжe" "бe", и сицевыхъ ес(ть) же по семоу въ гръчъскихъ сице хріотѣ, хѣ, хріотъс, хѣ, и прочими въсем г(лаго)лом сице, въземлюще тъчию зачел'но писме и конъчно, и съвыше, и твореще г(лаго)ль. сице ми съмотри и "боже", и пакы "бe". аще же посред вълагаеши и "ж", ничтохъ залично являеши, кроме руки и мастила. и въ подобныхъ сим» («Сказание...». XIII. — Күев, Петков 1986, 143; Ягич 1895, 424–425). Данное высказывание Константина тем более важно, что речь в нем идет о написании слов, которые представляют собою *Nomina Sacra*! И он допускает их написание при помощи разного количества письменных знаков и их разного сочетания, — лишь бы смысл написанного оставался понятен для пишущего и читающего.

Итак, говорить о том, что для автора «Сказания о письменах» буквы и знаки представляют религиозную ценность, выступают как религиозно значимые, сами по себе, оказывается едва ли возможно. Скорее, их ценность и важность их правильного употребления определяются функцией, которую они исполняют, и которую Б. А. Успенский совершенно справедливо характеризует как «смыслоразличительную» (Успенский 1987, 218).

В самом деле, в своих рассуждениях о правилах употребления букв и знаков (надстрочных и препинания), а также о пагубных последствиях их нарушения, Константин Костенецкий неоднократно дает понять, что функция «письмен», «зnamений» и «белегов» и, следовательно, цель их правильного употребления состоит в том, чтобы «содержать» глаголы, как он называет элементарные речевые единицы, наделенные определенным смыслом<sup>7</sup>. Приведем несколько характерных примеров:

<sup>7</sup> Подробнее о *Nomina Sacra* см., в частности: Roberts 1979, 26–48.

<sup>8</sup> См., например: «глас ч(ъ)л(о)в(е)чъ съ г(лаго)ломъ. глас же безъ г(лаго)ла еже г(лаго)летсъ, нemo възвание, си реч, аллаг'мо, еже въсклицание г(лаго)лем иже въ древнихъ» («Сказание...». XXXI. — Күев, Петков 1986, 194; Ягич 1895, 461).

Грамматическая терминология Константина Костенецкого подробно рассматривается в работе: Goldblatt 1982, 173–186.

См. также: Goldblatt 1987, 95, 188, 193–194, 227, 271.

1) «и о белезех писменъ, яко сими преложением прелагаються и глаголи. и прочих писменъ» («Сказание...». Обозрение глав. 10. — Күев, Петков 1986, 85; Ягич 1895, 385);

2) выступление Константина Костенецкого не имеет под собою никакого основания и достойно безусловного осуждения, если «нес(ть) погоубление никоеже въ б(о)ж(е)ст(ь)вных писменех, нь въсса въ свое ес(те)ство стоеет и свое г(лаго)лы съдръжеть» («Сказание...». I. — Күев, Петков 1986, 90; Ягич 1895, 388);

3) «аще ли же кое претвориши, то въ основани падение вълагавши и несъмысльство» («Сказание...». VII. — Күев, Петков 1986, 105—106; Ягич 1895, 400);

4) «въ много бо плодет'се б(о)ж(е)ст'внаго писания речи. едина соуть звател'на, ина же сповесна, и дроуга средняя, ина же моужьска, и ина жень, и многа разлика. того ради и потреба въсакаа на свое место стояти, яко да не претвориши виновною реч' на дателною или мест'ноу, или въ кои либо образъ. аще ли ни, то единемъ сим претвориши въсь г(лаго)ль писменем... безъ единого бо того писмене въсе раз'вратитсѧ, якоже и рас'тищесе б(о)ж(е)ст(ь)внаа писания семоу ("ѣ") премещену соущоу. и чъсъ ради потребно бѣ изобретению, аще не от "ѣ" и "ѣ" отделно би, и аще не иные г(лаго)лы являло би. съ "ѣ" бо "свѣть" г(лаго)лет "свѣть" "свѣтей". съ "ѣ"-м' же "светъ", си реч: "с(ве)ть" г(оспо)дъ", или "светыи" кто. такожде и въ въсех г(лаго)лех рас'тлеваетсѧ, аще на своем месте не обретаетсѧ. и не тъкмо рас'тлеваетсѧ, нь и хоулы боуд(оу)ть...» («Сказание...». X. — Күев, Петков 1986, 109; Ягич 1895, 402);

5) «въ их'же (приводятся примеры конкретных слов) аще не въ своем ес(те)стве ес(ть) (речь идет об употреблении буквы i), г(лаго)ль разарается» («Сказание...». X. — Күев, Петков 1986, 123; Ягич 1895, 411);

6) «нь свое ес(те)ство коеждо (знамение) съдръжеть. аще ли ни, то г(лаго)ль претвориши» («Сказание...». XV. — Күев, Петков 1986, 145; Ягич 1895, 426);

7) «и въса сия (речь идет о буквах греческой азбуки) свои плод приносеть, г(лаго)ль свои съдръжеще» («Сказание...». X. — Күев, Петков 1986, 127; Ягич 1895, 414);

8) «нь зри и се, яко не тъчию въ силе погрешають г(лаго)ль, нь и въ писмени, оставляюще и, и соуюбо раз'вращаютъ съ г(лаго)ль по въсакых оутрънях» (речь идет о правописании молитвословия Утрени «Бог Господь и явися нам») («Сказание...». XXXI. — Күев, Петков 1986, 195; Ягич 1895, 462).

При этом необходимо отметить, что возникающие в результате орфографической ошибки или небрежности искажения смысла («претворение» или «развращение» глагола), по убеждению Константина, далеко не всегда имеют непременно еретический или богохульный характер. Часто это просто ошибка, затемняющая смысл написан-

ного и, соответственно, читаемого или слушаемого (если данный текст предназначен для богослужебного употребления). Константин последовательно различает «варварства по гласу», «въ писменех же соупротивлениа и развращениа» и «хоулы» («Сказание...»). II. — Күев, Петков 1986, 92; Ягич 1895, 390)<sup>9</sup>. Последние гораздо опаснее и губительнее по своим последствиям, нежели простые «погрешениа». Так что «лоучьше ... ес(ть) съ въсемъ листъ погрешити, неже въ писменех едину хоулу съставити. погрешение бо оулишне ес(ть) б(о)ж(е)ст(ь)вные п'шенице, хоула же въ писменех врагъ б(о)жии ес(ТЬ)» («Сказание...»). II. — Күев, Петков 1986, 92; Ягич 1895, 390).

Обращает на себя внимание та важная роль, которую в конкретных орфографических рекомендациях Константина Костенецкого играет принцип «антистиха» (греч. ἀντίστοιχον — «противостояние»), разработанный и широко применяющийся в византийской письменности и школьном образовании<sup>10</sup>. При этом у Константина он подвергается некоторому переосмыслению и приобретает число функциональный характер. Орфографическое выражение искусственно устанавливается для семиотического различения, и Константин без каких бы то ни было сомнений последовательно связывает употребление различных букв при написании одинаково произносимых слов с наделением их разными значениями (Успенский 1987, 217–218)<sup>11</sup>. Избыточные, на первый взгляд, омофоничные знаки закрепляются таким образом в формах, противопоставленных по своему значению, и это, в свою очередь, оправдывает само их существование (Успенский 1987, 218–219). Тем более важно, что при всем этом Константин без каких-либо особых возражений соглашается с отсутствием в сербских церковнославянских текстах букв “Х” и “А”, поскольку здесь эта потеря не ведет к искаению смысла и содержания этих текстов и, в значительной степени, ком-

<sup>9</sup> См. также главы III, XII и др. (Күев, Петков 1986, 99, 134; Ягич 1895, 396, 419).

<sup>10</sup> См., в частности: Browning 1991; Hunger 1989, 63–65, 76–85; Hunger 1978, 18–22; Treu 1896.

<sup>11</sup> «Нъ о “ѹ” антистихии мало речемъ. ... [пишет, в частности, Константин Костенецкий] аще хоще рещи “мѹро”, и въпишиши “ѿ” сицево, то не являеши “мѹро” от мошени с(ве)тых или Моисеомъ съставлен’ное от д’(4)-х видъ сущее, нъ инь г(лаго)ль, сице “мѹр’но” “мир’но”. се едина писмена въ обоих, кроме антистихий “ѹ” “ѿ”, иже соуть соупротивна другъ дроугу. соупротивит’ бо се едина дроугои являе инь г(лаго)ль» («Сказание...»). X. — Күев, Петков 1986, 123–124; Ягич 1895, 412 ).

Константин, естественно, апеллирует к примеру византийской письменности, хотя и отмечает при этом, что большее число букв славянской азбуки обуславливает наличие меньшего числа омофоничных пар («Сказание...»). X. — Күев, Петков 1986, 126–127; Ягич 1895, 414).

пенсируется наличием букв "ІА" и "ІЄ" («Сказание...». Х. — Киев, Петков 1986, 115–116; Ягич 1895, 407).

Чрезвычайно многозначительным представляется нам и рассказ Константина Костенецкого об изобретении письменности праведным патриархом Сифом и его потомством, прежде потопа и задолго до возникновения Св. Писания («Сказание...». XVII. — Киев, Петков 1986, 150–151; Ягич 1895, 430–431). В этом рассказе Константин следует версии, изложенной Иосифом Флавием в «Иудейских древностях» (*Antiq. Jud.* I, 68–71. — *Josephus* 1930, 32) и хорошо известной как византийскому<sup>12</sup>, так и православному славянскому читателю<sup>13</sup>.

Итак, в «Сказании о письменах» буквам и знакам церковнославянской (да и вообще любой) письменности отводится чисто инструментальная, техническая роль — надежно зафиксировать и передать смысл, содержащийся в том или ином тексте, какой бы характер этот текст не имел. Письменность в понимании Константина Костенецкого есть «художество» (собственно — «художество писменъ») — тѣхнѣ, одновременно искусство и ремесло, созданное людьми, наделенными Богом свободой воли и творческими способностями, ради своих, чисто человеческих, нужд. Искушенность в этом «художестве» лежит в пределах естественной человеческой компетенции. Она достигается в ходе и в результате «доброго оччения въ писменех», примером которого Константин считает свое собственное обучение у Андроника Бачковского («Сказание...». II. — Киев, Петков 1986, 93; Ягич 1895, 390–391), и определяется внутренними законами, своего рода техническими стандартами, самого этого «художства». Что, собственно, и позволяет ставить вопрос об ответственности переписчиков за состояние выходящих из-под их пера текстов. И что, в то же время, нисколько не исключает потребности в Божьей помощи при овладении его секретами («Сказание...». XVIII. — Киев, Петков 1986, 154; Ягич 1895, 432–433). В главах XVIII–XXIV своего «обличения» Константин даже излагает своего рода идеальную программу первоначального обучения «отрочеть» грамоте — «како очути ихъ въ писменех» («Сказание...». Обозрение глав, 19. — Киев, Петков 1986, 85; Ягич 1895, 385), — которая, по его убеждению, и может предотвратить дальнейшее «развращение б(о)ж(е)ст(ь)вных писаний» в Сербии («Сказание...». XVIII–XXIV. — Киев, Петков 1986, 152–168; Ягич 1895, 431–442).

«Художество писменъ» до известной степени поддается формализации. Оно может быть зафиксировано и изложено в письменном «оутврѣждении» («Сказание...». II. — Киев, Петков 1986, 94, 96; Ягич 1895, 391, 393–394), вроде «типика» или «эротиматы» (см. выше).

<sup>12</sup> См., в частности: *Georgius Monachus* 1978, 10.

<sup>13</sup> См., в частности: Истрин 1920, 33; Палея Толковая 1892, 49 об.; Георгий Амартол 1880, 2 об.–3.

Именно так обстоит дело в Византии, где «въ гръцких ... писаних развращения ни единого ес(ть) еротиматы ради Мануила Мосхопоула, юже състави сих (писменъ) ради» («Сказание...». II. — Куве, Петков 1986, 94; Ягич 1895, 392). Так что «въ гръцких мнозии, пач(е) же множаши г(лаго)ли соуть их'же мало обретаете ведещиих. нь не прелагаютсѧ, яко да не от ес(те)ства изыдуть» («Сказание...». X. — Куве, Петков 1986, 126; Ягич 1895, 413). Владение навыками «художства писменъ» и есть, по всей видимости, тот критерий, с помощью которого Константин Костенецкий отличает «книжевыхных» от «простых людии гръкъ» («Сказание...». X. — Куве, Петков 1986, 109; Ягич 1895, 403). Степень владения этими навыками у разных лиц может быть не одинакова. Говоря о самом себе, Константин признается в том, что он — пока еще «не съвръшень художникъ» («Сказание...». II. — Куве, Петков 1986, 93; Ягич 1895, 390). В наивысшей степени, по его убеждению, владел этим «художством» патриарх Евфимий Тырновский, в лице которого Константин прославляет «великаго ... художника слове(н)скихъ писменъ» и «художнишаго» «въ тых (Тръновскихъ) странъ» («Сказание...». II. — Куве, Петков 1986, 93, 94; Ягич 1895, 390, 391). «Велиции въ разуме» — так называет он Константина-Кирилла Философа и его соратников, рассказывая о создании ими славянского языка и славянской письменности и под «разумом» имея в виду, очевидно, их высочайшую профессиональную квалификацию в «художстве писменъ» («Сказание...». X. — Куве, Петков 1986, 117, 127; Ягич 1895, 408, 414). Напротив: «малаа отрочета», которых, по словам Константина, в Белграде допускают к переписыванию книг, «раз'вращають» эти книги «нес(ть) възраста ради толико, елико понеже злобно рас'тлен'но очищесе писменем» («Сказание...». XII. — Куве, Петков 1986, 136; Ягич 1895, 421). Именно это «злое обучение» и есть корень тому «нез'здравию» сербских церковных книг, которое изобличает Константин Костенецкий («Сказание...». XXV. XXXVI. — Куве, Петков 1986, 170, 216; Ягич 1895, 444, 480). «Ибо [настаивает он] не старыми растлисе, нь ленивым и злым обучениемъ» («Сказание...». XVIII. — Куве, Петков 1986, 152; Ягич 1895, 431).

Между тем скрытую (но от этого не менее необходимую) основу изложенных выше взглядов Константина Костенецкого на «художество писменъ» составляли традиционные святоотеческие учения о богоухновенности Св. Писания и других свв. текстов, а также о природе и происхождении языка и письменности. Согласно первому, словесное Откровение Божества в пророках, апостолах и других свв. писателях, как свидетельствует об этом само Св. Писание (Евр. I, 1–2), некоторым образом было подобно Его Самооткровению в Лице Иисуса Христа, Воплотившегося Бога-Слова, в Котором совершилось соединение Божественной и человеческой природ: «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно», без потери или изменения существенных свойств каж-

дой из них<sup>14</sup>. Действие Св. Духа не уничтожало и не подавляло действия духа и сознания самого св. писателя. Наоборот, оно возводило их на особую высоту, наделяло особенной ясностью, глубиной, проницательностью и силой, необходимыми св. писателю для того, чтобы без какой бы то ни было ошибки или иного ущерба обозначить открываемые ему истины соответствующими именами на привычном для него языке и зафиксировать их в виде слов в письменном тексте при помощи привычной для него системы письменности. Богодухновенность, таким образом, не распространялась на язык и письменность свв. книг, ибо их инспирация происходила на уровне более глубоком, нежели язык и письменность, которые, по учению свв. отцов, составляли предмет необходимости для одного только человека и задолго до возникновения Св. Писания были изобретены самим человеком, реализовавшим таким образом полученные им от своего Творца свободу воли и созидательные способности<sup>15</sup>.

Так с учением свв. отцов о богодухновенности оказывается существенно связано святоотеческое же учение о природе и происхождении языка. Согласно этому последнему, язык, по природе своей, необходим только человеку и не мог существовать (и не существует) прежде (и без) человека. Ни Бог, ни Его ангелы в языке не нуждаются. В строгом смысле слова, ни человек не может называться творцом вещей, ни Бог — установителем имен, образующих язык в своей совокупности. Ибо, хотя Бог и сотворил из ничего космос, но свои имена составляющие космос вещи получили все-таки от человека. Такое понимание природы имени в частности и языка в целом основывалось на тексте книги Бытия, рассказывающем о наречении, с Божественного согласия, имен Адамом после сотворения мира и его самого (Быт. II, 19–20). Именно это учение о первичности сотворенного Богом мира и вторичности и знаковой природе языка как совокупности имен, установленных человеком, и лежало в основе средневековых представлений о языке<sup>16</sup> как на Христианском Востоке, так и на Западе.

И Константин Костенецкий не представлял собою в этом отношении исключения. В противном случае в «Сказании о письменах» не появились бы ни рассмотренные выше высказывания о «художестве писменъ», ни знаменитый рассказ о деятельности Константина-Кирилла Философа и его соратников, которые, в качестве основы «из'брав'шее тън'чаишии и краснеишии роуш'кыи езык» и добавив к нему в помощь «блъгаг'скыи и сръб'скыи и боснъскыи и словен'скыи и чеш'каго чес(ть)

<sup>14</sup> См. догмат IV Вселенского (Халкидонского) собора о двух естествах во Едином Лице Господа нашего Иисуса Христа (Книга правил 1893, 5).

<sup>15</sup> Подробнее о святоотеческом учении о богодухновенности см., в частности: Лепорский 1995, 342–348; Шиваров 1988, 6–10; Сильвестр 1884, 285–300.

<sup>16</sup> Подробнее см. об этом, в частности: Эдельштейн 1985, 157–207.

и хъватъскыи езыкъ», создают некий подлинно «славянский» койнэ, переводят на него с греческого Св. Писание и записывают этот перевод в книги с помощью букв и знаков созданной ими же «славянской» письменности. Обо всем этом Константин Костенецкий сообщает таким образом, что у читателей его обличения не должно (и не может) остаться никаких сомнений во вполне естественном, человеческом, характере этой деятельности («Сказание...»). IV. — Киев, Петков 1986, 100–103; Ягич 1895, 396–398)<sup>17</sup>. Недаром (как было отмечено выше) он называет Константина-Кирилла Философа и его сотрудников «великими в разуме».

Итак, и язык, и письменность своим существованием обязаны человеку. А потому от человека зависит и сохранение их в надлежащем состоянии — поддержание языковой и орфографической нормы. Потому и «множае ... ес(ть) ч(ъ)л(ове)ка рас'плити въ оуме, неж писание кое° ч(ъ)л(ове)къ бо вед'цъ многие книги можеть исправити» книги же, аще и много суть праваго писания, и не вес(ть) их кто, тако въменяються яко<sup>18</sup> и рас'плен'ные» («Сказание...» XIX. — Киев, Петков 1986, 160; Ягич 1895, 437).

От человека зависит и достоинство «художества писменъ». Оно определяется характером того предмета, на который это «художество» направлено, и теми намерениями, с которыми к нему прибегают. «Художество писменъ», с помощью которого создаются и воспроизводятся тексты, передающие христианское Благовестие, выступает в роли такого же — самого по себе религиозно нейтрального — технического инструмента для сохранения и передачи богооткровенных истин, какими (с теми или иными модификациями) философский понятийный и терминологический аппарат служил для христианского богословия, а иконографический репертуар и художественная техника изобразительного

<sup>17</sup> Этому рассказу Константина Костенецкого посвящена обширная литература: Чешмеджиев 1993, 129–136; Češmedžiev 1991, 52–64; Харалампиев 1981, 188–197; Петков 1980, 92–99; Tachiaos 1973, 293–302.

<sup>18</sup> Ту же мысль Константин Костенецкий высказывает и в XXV главе «Сказания...» (Киев, Петков 1986, 169; Ягич 1895, 443).

Эти высказывания Константина заставляют вспомнить опубликованные в тех же «Рассуждениях...» В. Ягича тексты статей грамматического содержания, которые начиная с XVI в. появляются в древнерусских рукописных сборниках. В них вопрос о соотношении человека, человеческих интеллектуальных способностей («оума») и письменности («грамоты») решается точно таким же образом. Ср., например: «от оума грамота состроена. понеже б(о)гъ созда ч(е)л(ове)ка по образу своему и по подобию. по образу оубо разумна чувствы, а по подобию бессмертна д(у)шею, давъ ему разумъ, и дастъ ему стяжатая разумна оумъ, да оумомъ вся совершаєт. посему и грамота состроена от оума ч(е)л(ове)ческаго б(о)жииим промыслом по многихъ летех от создания ч(е)л(ове)ческаго. а оумъ от грамоты прежде не состроенъ, но от б(о)га из начала состроенъ оумъ, а грамотою собирается памяти ради» (Ягич 1895, 650; см. также 676).

искусства — для зримой, образной, проповеди Благовестия, посредством красок и смальты, камня и слоновой кости.<sup>19</sup>

Что же касается Константина Костенецкого, то, как было уже показано выше, для него «художество писмень» представляет ценность постольку, поскольку от него зависит сохранность «б(о)ж(е)ст(ь)вных писаний», т. е. текстов церковнобогослужебных и прежде всего библейских книг. То, как именно: с помощью каких категорий, цитат, образов и т. п., — он раскрывает перед своей аудиторией значение сбережения в целости и сохранности этих текстов, заслуживает самостоятельного исследования. Ибо Константин в своих рассуждениях апеллирует к многовековой восточнохристианской традиции во всем ее богатстве и многообразии, демонстрируя при этом выдающуюся эрудицию, вполне оправдывающую то имя «философа», под которым он стал известен славянским книжникам позднейшего времени<sup>20</sup>. В данной же работе позволим себе ограничиться указанием лишь на один элемент этой сложнейшей системы доктринальной мотивации, среди источников которой можно предполагать не только письменные, но и изобразительные памятники. Этот элемент примечателен не только тем, что раскрывает самую сущность представлений Константина Костенецкого о религиозной значимости церковных текстов, но и тем, что в этом случае мы имеем возможность точно определить источник его рассуждений — тот конкретный письменный текст, к которому он апеллировал, будучи уверен в том, что его столь же хорошо, как и он сам, знает и аудитория его обличения.

---

<sup>19</sup> См., например, характерное высказывание патриарха Константинопольского Фотия: «...и теперь еще [пишет он в послании к армянскому католикосу Захарии] для глубокого понимания богоизбранных писаний научные материалы мы заимствуем от греческих внешних мудрецов, подобно тому, как кузнец материал берет от железа, а плотник — от дерева» (Фотий 1892, 231).

Не лишним представляется вспомнить также и знаменитый Синодик в Неделю Православия. В нем осуждению подвергаются не те, кто «ради воспитания (διὰ παιδεύσιού)» обращаются к «эглинским учениям (μαθήσατο)», в числе которых, естественно, находятся и орфография, и грамматика в целом, но те, кто «следует их суевным мнениям и верует в них как в истинные, а равным образом и те, кто упорствует в них как в обладающих (будто бы) достоверностью и надежностью (ὅς τὸ βέβαιον ἔχοντας)», — иными словами, те, кто относится к ним не как к средству или инструменту для достижения благочестивой цели, но как к самой цели как таковой (Попруженко 1928, 23, 35–37; Успенский 1893, 16–17).

О том, как христианская традиция относилась к школе грамматика и к тому образованию, которое она давала, см.: Kaster 1988, 70–95.

<sup>20</sup> О том содержании, которое византийско-православная традиция вкладывала в понятия «философия», «философ» и т. п.; см., в частности: Гранстрем 1970, 24–25; Dölger 1953, 197–208.

Эти рассуждения отличаются замечательной в своем роде духовной трезвостью и совершенно лишены характера каких-либо абстрактных спекуляций. Спасение души, которого взыскиует благочестивый христианин Константин Костенецкий, и о котором он стремится напомнить своей высокопоставленной аудитории, по его убеждению, совершенно недостижимо без знания и любовного исполнения в делах благочестия Божьих заповедей — «бес' страха ... б(о)ж(е)ст(ь)вных повелении» («Сказание...». III. XL. — Киев, Петков 1986, 97, 222–223; Ягич 1895, 394–395, 485–486), без того, чтобы «странитися еретикъ въсехъ, и тъчию въ следъ пути ити б(о)ж(е)ст(ь)вныхъ от(е)цъ, яко и ти въследъ б(о)ж(е)ст(ь)вныхъ ап(о)с(то)ль, яко ап(о)с(то)ли въ следъ г(оспод)а, да симъ оружиемъ въоружившеся кр(е)стнымъ, повеляниа б(о)ж(е)ст(ь)внаа право, яко о(т)цы навыкохомъ» («Сказание...». XIX. — Киев, Петков 1986, 156; Ягич 1895, 434). Однако, все это оказывается невозможно без употребляемых Христианской Церковью книг: библейских, святоотеческих, богослужебных и всех прочих, — ибо как раз они и содержат в себе и сообщают людям «б(о)ж(е)ст(ь)вные повеляниа». Поэтому-то Константин и настаивает на том, что конечная причина его выступления и, в то же время, самый страшный и гибельный результат «развращения писменъ» как раз и состоит в «раз'дроушении, погублении, ... обес'ч(е)стии ... б(о)ж(е)ст(ь)вныхъ повеляниа» («Сказание...». XVII. XXVI. — Киев, Петков 1986, 150, 170; Ягич 1895, 430, 444). И это, по его убеждению, предстavляет собою опасность гораздо более страшную, нежели само иконоборчество («Сказание...». XVII. — Киев, Петков 1986, 150; Ягич 1895, 430). Ибо «въсака ... злоба и ереси приобретение от самовол'ные похоти и раслабления и попущения бывають, и въсако злымъ очениемъ сиа въса сеютсе» («Сказание...». XXV. — Киев, Петков 1986, 168; Ягич 1895, 443). Именно это и происходит в современной Константину Сербии: «много соуще раз'вращениом, и своя воля комужде въ въсакыхъ, б(о)ж(е)ст(ь)вному же очению и писанию възету, и самемъ раслабления и мысли лукавии находеть, и бестиади и лености» («Сказание...». X. — Киев, Петков 1986, 119; Ягич 1895, 409).

Очевидно, что, рисуя эту драматическую картину, Константин Костенецкий апеллирует к хорошо и широко известным компонентам православного вероучения и традиционного благочестия, подробно рассмотреть которые в настоящей работе нет ни возможности, ни, на-верное, необходимости. Укажем только текст, который как бы аккумулировал в себе представления византийско-православной традиции о происхождении и достоинстве священных книг; который разъясняет связь между христианским благочестием, «божественными повелениями» и христианскими книгами; который, наконец, должен был быть в такой степени известен аудитории Константина Костенецкого, что последний мог уверенно апеллировать к его авторитету. Это — Предисловие бл. Феофилакта Охридского к его же Толкованиям на Евангелие от Матфея. «Блаженные мужи, жившие до закона [так начинает свои Толкования выдающийся византийский церковный деятель и духовный

писатель] учились не из писаний и книг (ὅν διὰ γραμμάτων καὶ βιβλίων), но имея чистый ум, просвещались озарением Всесвятого духа (πᾶς τῶν παναγίου πνεύματος ἐφεστίζοντο ἐλλόγησε), и таким образом познавали волю Божию из беседы с ними Самого Бога "усты к устам". Таков был Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Моисей. Но когда люди испортились и сделались недостойными просвещения и обучения от Св. Духа, тогда человеколюбивый Бог дал Писание, дабы хотя при помощи его, помнили волю Божию [буквально: «припоминали воления Божии» — ἵνα καὶ διὰ τούτων ὑπομνήσκονται τὸν τοῦ Θεοῦ θελημάτων]. Так и Христос сперва Сам лично беседовал с апостолами, и (после) послал им в учителя благодать Св. Духа. Но как Господь предвидел, что впоследствии возникнут ереси и наши нравы испортятся: то Он благоволил, чтоб написаны были Евангелия, дабы мы, научаясь из них истине, не увлеклись еретическою ложью, и чтоб наши нравы не испортились совершенно» (Феофилакт 1993, 22; греч. текст: *Patrologia* 1864, col. 144).

К этому же тексту восходит рассказ Константина Костенецкого о возникновении четырех канонических Евангелий — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна («Сказание...». XXX. — Киев, Петков 1986, 191; Ягич 1895, 459)<sup>21</sup>. И на него он прямо ссылается, начиная этот рассказ: «и не зрити повести въ еу(ан)г(е)ли, яко Мат'феи по и'(8)-х летех...» («Сказание...». XXX. — Киев, Петков 1986, 191; Ягич 1895, 459). Эта библиографическая ссылка становится понятной, если принять во внимание то чрезвычайно важное для нас обстоятельство, что к XV в. Предисловие бл. Феофилакта прочно входит в число справочных статей, помещаемых в рукописях славянских Четвероевангелий (Дограмаджиева 1993, 202). И, наконец, в заключение добавим, что существуют веские основания полагать, что славянский перевод Толкований бл. Феофилакта имелся в составе дворцовой библиотеки деспота Стефана Лазаревича и, следовательно, должен был быть ему хорошо известен.<sup>22</sup> Все это и дает Константину Костенецкому возможность апеллировать к Предисловию бл. Феофилакта, раскрывая перед аудиторией своего обличения важность охранения церковных текстов от орфографических и иных «развращений».

<sup>21</sup> Ср.: Феофилакт 1993, 23; *Patrologia* 1864, col. 144.

<sup>22</sup> Из этой библиотеки происходит рукопись начала XV в. с текстом славянского перевода Толкований бл. Феофилакта на Евангелие от Марка, которая когда-то принадлежала Нямецкому монастырю, а в настоящее время хранится в библиотеке Академии Наук Румынии в Бухаресте (N 147) (Трифоновић 1979, 87, 232–233). Маловероятно, чтобы деспот ограничился только частью знаменитого эзегетического труда и не имел бы его в полном виде.

## Литература

- Гаврилов 1985 — Гаврилов А. К. Языкознание византийцев // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. С. 109–156.
- Георгий Амартол 1880 — Георгий Амартол. Летовник съкращень от различных летописьц же и поведателии. Избрань и съставлень от Георгия грешнаа инока. Вып. 1–2. СПб., 1878–80.
- Гранстрем 1970 — Гранстрем Е. Э. Почему митрополита Клиmenta Смолятича называли философом // Труды Отдела древнерусской литературы. 1970. Т. 25. С. 20–28.
- Истрин 1920 — Истрин В. М. Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920. Т. 1. Текст.
- Книга правил 1893 — Книга правил свв. апостол, свв. соборов вселенских и поместных и свв. отец. М., 1893.
- Лепорский 1995 — Лепорский П. И. Богоодхновенность. // Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 3. С. 342–348.
- Лихачев 1958 — Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России (=IV Международный съезд славистов. Доклады). М., 1958.
- Лукин 1994 — Лукин П. Е. Болгарско-сербские культурные связи начала XV века: Константин Костенечский и его «Сказание о письменах». Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1994 (машинопись).
- Матхаузерова 1976 — Матхаузерова Св. Древнерусские теории искусства слова. Praha, 1976.
- Мечковская, Супрун 1991 — Мечковская Н. Б., Супрун А. Е. Знания о языке в средневековой культуре южных и западных славян // История лингвистических учений. Позднее Средневековье. Л., 1991. С. 125–181.
- Палея Толковая 1892 — Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892.
- Попруженко 1928 — Попруженко М. Г. Синодик царя Борила. София, 1928.
- Сильвестр 1884 — Сильвестр (Малеванский), архим. Опыт православного догматического богословия (с историческим изложением догматов). 2 изд. Киев, 1884. Т. 1.
- Успенский 1987 — Успенский Б. А. История русского литературного языка (Х–XVII вв.). Münchén, 1987.
- Успенский 1893 — Успенский Ф. И. Синодик в Неделю Православия. Сводный текст с приложениями. Одесса, 1893.

Феофилакт 1993 — Бл. Феофилакта, архиепископа Болгарского, Благовестник, или Толкование на Св. Евангелие. М., 1993. Ч. 1. Евангелие от Матфея.

Фотий 1892 — Письмо патриарха Фотия к Захарии, католикосу Великой Армении, об Одном Лице Господа нашего Иисуса Христа из соединения двух естеств и о правомыслии собора свв. отцов в Халкидоне // Православный Палестинский сборник. СПб., 1892. Т. XI, вып. 1 (вып. 31). С. 227–245.

Эдельштейн 1985 — Эдельштейн Ю. М. Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985. С. 157–207.

Ягич 1895 — Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку. СПб., 1885–95. Т. 1. С. 289–1067.

Дограмаджиева 1993 — Дограмаджиева Е. Особености в структурата на славянските четириевангелия през XV век // Българският петнаесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. София, 1993. С. 201–203.

Киселков 1956 — Киселков В. Сл. Константин Костенечки // Киселков В. Сл. Проуки и очертни по старобългарска литература. София, 1956. С. 266–303.

Куев, Петков 1986 — Куев К., Петков Г. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследване и текст. София, 1986.

Петков 1980 — Петков Г. Взгляды Константина Костенечкого на литературный язык славянских народов // Palaeobulgarica. 1980. N 1. С. 92–99.

Трифонов 1940 — Трифонов Ю. Сръбско-българска безюсова редакция в старата книжнина на южните славяни // Македонски преглед. 1940. N 2. С. 25–55.

Трифонов 1943 — Трифонов Ю. Живот и дейност на Константин Костенечки (=Списание на БАН. Кн. LXVI-5). София, 1943.

Трифуновић 1979 — Трифуновић Ђ. Живот, доба и књижевни рад Стефана Лазаревића // Деспот Стефан Лазаревић. Књижевни радови. Београд, 1979. С. 5–141.

Трифуновић 1974 — Трифуновић Ђ. Песма над песмама у преводу или у редакцији Константина Филозофа (Костенечког) // Търновска книжовна школа. София, 1974. Кн. 1. С. 257–261.

Трифуновић 1971 — Трифуновић Ђ. Тумачење Песме над песмама од Теодорита Кирског у преводу Константина Филозофа // Зборник за славистику. 1971. Кн. 2. С. 86–105.

Чешмеджиев 1993 — Чешмеджиев Д. Към въпроса за състоянието на Кирило-Методиевската идея през XV век // Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. София, 1993. С. 129–136.

Харалампиев 1981 — Харалампиев И. Константин Костенечки и Григорий Цамблак за делото на Константин-Кирил Философ // Константин-Кирил Философ. София, 1981. С. 188–197

Шиваров 1988 — Шиваров Н., прот. История и каноничност на старозаветния текст (с оглед на старобългарския му превод) // Годишник на Духовна академия «Св. Климент Охридски». София, 1988. Т.29 (1979–1980). С. 5–65.

Browning 1991 — Browning R. Orthography // The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. by A. P. Kazhdan et al. New York — Oxford, 1991. Vol. 3. P. 1538–1539.

Češmedžiev 1991 — Češmedžiev D. Constantine Kostenečki de l'origine de la langue de Cyrille et Méthode // Etudes Balkaniques. 1991. N 3. P. 52–64.

Dölger 1953 — Dölger Fr. Zur Bedeutung von ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ und ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ in byzantinischer Zeit // Dölger Fr. Byzanz und die europäische Staatenwelt. Ettal, 1953. S. 197–208.

Georgius Monachus 1978 — Georgii Monachi Chronikon. Ed. C. de Boor. Editionem anni MCMIV correctiorem curavit P. Wirth. Stutgardiae, 1978. Vol. I.

Goldblatt 1987 — Goldblatt H. Orthography and Orthodoxy. Constantine Kostenečki's Treatise on the Letters ("Skazanie izjavlenno o pismenex"). Firenze, 1987.

Goldblatt 1984 — Goldblatt H. The Church Slavonic Language Question in the 14th and 15th Centuries: Constantine Kostenečki's "Skazanie izjavlenno o pismenex" // Aspects of the Slavic Language Question. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven, 1984. V. 1. P. 67–98.

Goldblatt 1982 — Goldblatt H. On Church Slavonic Grammatical Terms and Their Greek Counterparts in the 14th and 15th Centuries // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1982. Vol. 25–26. P. 173–186.

Goldblatt 1981 — Goldblatt H. On the Theory of Textual Restoration among the Balkan Slavs in the Late Middle Ages // Richerche Slavistiche. Roma, 1980–1981. Vol. 27–28. P. 123–156.

Hunger 1989 — Hunger H. Schreiben und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur. München, 1989.

Hunger 1978 — Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1.

- Josephus 1930 — *Josephus*. With an English Translation by H. St. Thackeray, M. A. London — New York, 1930. Vol. IV.
- Kaster 1988 — *Kaster R. Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity*. Berkeley — Los Angeles — London, 1988.
- Kujew 1950 — *Kujew K. Konstantin Kostenečki w literaturze bulgarskiej i serbskiej*. Krakow, 1950.
- Patrologia 1864 — *Patrologiae cursus completus*. Ed. J. P. Migne. Series Graeca. 1864. T. 123.
- Picchio 1980 — *Picchio R. Church Slavonic // The Slavic Literary Languages: Formation and Development*. Ed. by A. M. Schenker and Ed. Stankiewicz. Ass. ed. M. S. Jovine. New Haven, 1980. P. 1–33.
- Roberts 1979 — *Roberts C. H. Manuscript, Society and Belief in the Early Christian Egypt*. London, 1979.
- Tachiaos 1973 — *Tachiaos A-E. N. L'œuvre littéraire de Cyrille et de Méthode d'après Constantine Kostenečki // Balkan Studies*. 1973. Vol. 14. N 2.P. 293–302.
- Treu 1896 — *Treu M. Antistoichien // Byzantinische Zeitschrift*. 1896. Bd. 5. S. 337–338.

## Механизмы теоретической защиты литературного языка в грамматических сочинениях Юрия Крижанича и Пьетро Бембо

В истории русского литературного языка книжные реформы середины XVII в. принято маркировать ориентацией на греческую грамматику, и лишь поскольку «в определенных моментах греческая грамматика не отличается от грамматик западноевропейских языков» (Успенский 1987, 312), престижность которых станет актуальной позднее, постольку целый ряд инноваций этого времени будет усвоен литературным языком нового типа.

Тем не менее, «совсем неверно говорить о московской замкнутости в XVII в. Напротив, это был век встреч и столкновений, с Западом и Востоком. Историческая ткань русской жизни становится в это время как-то особенно запутанной и пестрой. И в этой ткани исследователь слишком часто открывает совсем неожиданные нити» (Флоровский 1991, 58).

Рассматриваемая в контексте своего времени лингвистическая деятельность в Московии хорватского миссионера XVII в. Юрия Крижанича получает у исследователей, как правило, двойственную оценку: если ценность зафиксированных им наблюдений над состоянием славянских языков бесспорна, то сама попытка создания общеславянского языка изучалась, как правило, с точки зрения панславизма или, позднее, в русле идей *Slavia Latina*. Обнаружение прототипа модели, по которой Крижанич предлагал провести на славянской почве реформу книжного языка, позволило бы отдать должное функциональной нагруженности его сочинений, не нарушая авторского определения жанра. То есть попытаться поместить описанный им русский *језик* в рамки эпохи, когда «пользование плодами цивилизации из чужих рук стремилось стать более деятельным» (Соловьев 1991, 192).

Известно, что в решении ряда проблем, например графики и орфографии, Крижанич предвосхитил языковую реформу русских культуртрегеров XVIII в.<sup>1</sup> Попытки Адодурова, Тредиаковского или Карамзина имели целью создание языка того же типа и уровня престижности, что и западноевропейские литературные языки. Собственно концепции опирались на

<sup>1</sup> См.: *Eekman T. Krizhanicz et ses idées sur l'orthographie des alphabets latin et cyrillique // Slovo, № 17, Zagreb, 1967.*

западноевропейские образцы, истоки которых, в свою очередь восходят к позднеренессансным спорам об итальянском литературном языке, известным под названием "Questione della lingua" (см.: Успенский 1987).

Принято считать, что начало итальянской полемике было положено Данте (его сочинение "De vulgari eloquentia" было обнаружено только в XVI в.). Главным итогом этой дискуссии XVI в. стало формирование единого литературного языка на базе флорентийского наречия тосканского диалекта. Распространение нового письменного языка было предопределено, с одной стороны, изначальной ориентацией на текст (литературный авторитет), а с другой стороны, политической, экономической и торговой мощью городов Тосканы. В результате актуализации диахронической составляющей языка, его прошлого, оформилась и победила идея архаизирующего флорентийского пуризма, «глашатаем которой был Пьетро Бембо» (Челышева 1990, 6). Наряду с пониманием невозможности достижения политического единства возникло стремление к единству национальной культуры, в рамках которой новая наука пропагандировалась на новом языке в связи с секуляризацией просвещения (см.: Гуковская 1940). В XVII в. по Бембо зачастую правила новую литературу, вышел Словарь Академии della Crusca, зафиксировав идею исключительности письменного языка.

Ю. Крижанич являлся носителем гуманистического типа образованности. В сочинении «Политика» ("Razgovor ob vladatelsytschi", 1663–1666 г.), явившемся практической реализацией описанного автором идеального языка, в III части (О мудрости), в разделе О языке или о речи он в следующем порядке расположил «недостатки нашего языка», включающего русское, польское, чешское, болгарское, сербское и хорватское наречия:

язык скучен, несовершенен, свистящ и неприятен на слух, испорчен, необработан и во всех отношениях беден;

нет названий для искусства и наук, приказов и вещей военных, для городских приказов, добродетелей и пороков;

нет предлогов, наречий, союзов и междометий;

менее всех прочих пригоден для песен, стихов, музыки или для всякой складной или поэтической речи и пения;

неразвит слой бранных слов (Крижанич 1965, 112).

Мы предлагаем взглянуть на этот перечень *sub specie* рассмотренных выше требований "Questione della lingua", то есть вопросов о статусе и функциях литературного языка, на которые так или иначе пытался ответить каждый автор итальянской полемики.

И Крижанич, и итальянские полемисты воспринимали новый литературный язык под углом панславянских / итальянских стремлений.

Крижанич высоко оценивает вообще итальянскую<sup>2</sup> составляющую в мировой культуре. Он не видел и не мог увидеть в Московии языка, опирающегося на светскую литературу.

Также из сведений о Крижаниче, собранных С. А. Белокуровым, наше внимание привлек порядок пребывания хорватского священника в учебных заведениях: Загреб, Вена, Падуя, Болонья, Рим (впрочем, относительно стандартный для славян-католиков). В сведениях о Болонском университете в разделе об учебных пособиях времени обучения Крижанича в венгеро-хорватской колонии (*Studi i memorii per la storia dell'Universita di Bologna: Nuova Serie VII*, Bologna, 1988) нам встретилась ссылка об использовании в качестве такового грамматического трактата Пьетро Бембо *"Prose della volgar lingua..."* (1525 г.). Это подтвердило наше намерение сопоставить механизм теоретической защиты нового письменного литературного языка в грамматических сочинениях Ю. Крижанича и П. Бембо.

Языковая программа Ю. Крижанича изложена в его сочинении «Граматично изказанје об руском језику» (1665), в котором под «русским» языком он подразумевает не древнерусский, не «словенский», но общеславянский: «росудил јесем сице говорит (: будто общим никојим језико:) дави от всех было разумльно» (Крижанич 1859, III). В «Предпоминке» этого сочинения Крижанич постулирует идею доминантного положения русского языка и русской народности в славянском мире и приводит основные аргументы в пользу создания языка, отличающегося от существующего. Основная часть «Граматична изказанја об руском језику» посвящена описанию основных уровней языка, каким он мыслится автору (полемизирующему с «Грамматикой» Мелетия Смотрицкого, 1648), с приведением основных парадигм.

Трактат Пьетро Бембо *«Prose della volgar lingua...»* (1525 г.), самый, пожалуй, авторитетный в дискуссии *«Questione della lingua»*, построен в форме диалога который ведут 11–13 декабря 1502 г. противники и защитники *“volgare”* («простого» итальянского, «вульгарного» языка). Сочинение состоит из трех книг: в первой — проводится теоретическая защита «вульгарного» языка и предлагается взять за основу язык Петрарки и Боккаччо; во второй книге поднимается проблема выбора источника; в третьей, в частности, обсуждается критерий выбора из дублетных форм в фонетике, лексике и морфологии.

Сопоставим теперь цитаты из «Граматично изказанје об руском језику» (апеллируя изредка и к более раннему сочинению Ю. Крижанича

<sup>2</sup> Итальянцами в оппозиции к немцам (протестантам) Крижанич называет испанцев, французов и собственно итальянцев.

<sup>3</sup> В этой форме, достаточно популярной для трактатов, написаны и нескольких глав *«Политики»* (*“Razgovor ob wladatelsztwu”*) Крижанича.

«Објасњење виводно о письмъ словѣнском») с "Prose della volgar lingua..." под углом теоретической защиты обсуждаемого языка, которая ведется, как мы видели, с очень близких идеологических позиций.

## 1. И для Бембо, и для Крижанича важно обосновать необходимость языковой инновации.

Утрата части престижных позиций латынью как «языком, не впитанным с молоком матери», началась до Бембо. Поэтому в его трактате защитник достоинств латинского языка сожалеет, что ныне латынь, полная достоинств, испорчена ("vile, povero e disonorato"), и утверждает, что «вульгарный» язык не произошел от вульгарной латыни, а «он и есть этот самый вульгарный латинский язык» (Bembo 1989, 11). Его оппонент замечает: "E questo ancora più oltre, che a noi la volgar lingua non solatamente vicina si dee dire che ella sia, ma natia e propria, e la latina straniera" (Bembo 1989, 80). Т. е. новый язык встает в оппозицию «свой — чужой» к латыни. И поскольку «истина и добро тем похвальнее, чем шире они распространены», поскольку «вульгарный» язык предпочтительнее при лингвистическом монизме.

В сознании Крижанича существует некий чистый, древний, общеславянский язык, который был разрушен людьми, разделившими его на наречия, а позднее испортившими его заимствованиями, не оставившими места для славянских слов, так что тот язык перестал быть понятным: «Нимаем пак сцињат, будто да би наш сеј језик въ које дрвенье време бил добро изтежан, изправљен, обширен, и ко изреченју или ко пребеденју всаких инојезичних бесид паче пригоден, неже јест днес» (Крижанич 1859, II). А ныне существующий книжный язык «кив тако же јест мъшанина изъ Греческого да Руского дрвеньего: дрви бо на всѣх Русех лъудје общено говораху овим јазиком, кив нине чтем въ книгах; опроч отмѣн из Греческого јазика поведених» (Крижанич 1901, 28) — непонятен, а потому чужд.

## 2. Защищаемый новый книжный язык необходимо поместить в историческую перспективу.

Так, адепт "volgare" у Бембо признает, что, хотя вульгарные языки произошли от смешения с варварскими, тем не менее итальянский все же ближе к латинскому, чем к варварским языкам. Флорентийский автор выстраивает преемственность латинской культуры: как латинский язык относится к греческому, так и «volgare» относится к латыни.

Позднее в «Политике» Крижанич скажет, что преемственности культуры у славян нет, поэтому в «Граматично изказанји об руском језику» единственный критерий для исходного языка — его древность: «А најлаче сеј језик: којим књиги пишем, и нист, и неможет по прајде зват се Словенички, него Руски Књижни, или Дрвеньи језик, Перво тим: јеже суја отмина јест осталним петерим или шестерим кореника: и потому без сумњења родила се јест у најстаријега поколенја, у Русјанов» (Крижанич 1859, II). Каким методом пользуется хорватский автор для вычленения из

группы известных ему наречий русского языка как наидревнейшего? «Смотра бо ми на они тамо изпречтени разницы, и вземши кньибуд лист цирковых книг: везди хощем обрест десет крат вноже мист, въ коих книги разнетсе от Словинскије ричи, неже таковых мист, въ коих бы се разнили отъ Рукого общинного говоренja. Ј потому десет крат вѣще згаждајутсе книги зъ Руским общинним, неже со Словинским изговором» (Крижанич 1859, II). Этим же методом самоочевидно доказывался исход “volgare” от латыни.

3. Далее следует выстроить иерархию, дать статус новому языку.

В ходе дискуссии “Questione della lingua” стало ясно, что латынь сама была когда-то малоразвитым и грубым языком, что совершенство было достигнуто постепенно, путем сознательной работы над ней: “La greca e la latina, erano nel tempo loro tutte lingue materne e naturali” (Bembo 1989, 80). Так итальянский уравнивается в правах с латынью.

Крижанич буквально вторит Бембо, противореча имевшему место в Московии мнению о сакральности трех языков Откровения, во-первых, и книжного языка, во-вторых: «Ниједен језик небыше изкони въка, и тутже на своем початкѣ совершен. Греческо писмо и говоренје, косно после Јегипетскаго бѣ совершености приведено. Латинско позно после Греческого. А наше Словенско писмо и језик јешице лежит во своих плъничах: и потребует изтьажанја» (Крижанич 1891, 29). Таким образом, «русичъ» язык, по Крижаничу, может встать в ряд культурных языков.

4. Итак, язык требует «изтьажанја».

Бембо продолжает рассуждать, опираясь на латынь, которая, будучи обработанной греческой наукой и культурой, приобрела те преимущества, за которые и ценится адептами. Следовательно, и “volgare”, смоделированный по зафиксированным высоким текстам, приобретет достоинства латыни. За образцовые тексты берутся проза Бокаччо и поэзия Петрарки, созданные на флорентийском наречии (произведения Данте войдут в анналы литературного языка позднее).

Представлениям Крижанича об авторизованном типе литературного произведения доминировавший на Руси вид литературного творчества, по-видимому, не соответствовал: «Никогдаже бо въ нашем језике нист было нијединого книжного писателя: нитикоего велико-го и устројеного и обстојалного кралества: каково днес по божјев милости јест ово славно Руско господарство» (Крижанич 1859, II–III).

5. Критерии выбора лексической базы у обоих авторов циклично возвращают нас к постулату понятности «избранного языка», с одной стороны, и требованию универсальности языкового бытия (необходимости, чтобы искусства и науки имели свое имя в языке) с другой.

В современной автору “Prose della volgar lingua...” Италии существовала литература и на других диалектах, кроме тосканского. Однако именно «Три Короны Треченто» показали все выразительные возмож-

ности именно итальянского языка, т. е. достоинства языка понятные и венецианцу, и неаполитанцу. Бембо предлагает искусственное культивирование языка этих писателей, осуществленного в возвысившемся городе (реализация принципов Бембо происходила позднее, например, в Словаре Академии della Crusca (XVII в.)).

Крижанич вновь привлекает внимание читателя к древности и относительной чистоте русского языка, как и Бембо апеллируя к его понятности другими славянскими наречиями, — когда те, другие, пребывают в состоянии «Аэгильева хльва». Исходя из этого, он предполагает взять за основу лексический фонд этого отдельного языка, ведь ему присуще менее всего «поблудков». Лексика им берется по преимуществу из собственно русского наречия еще и потому, что в этом наречии более, чем в других славянских языках уцелело слов, употребляющихся в государственном управлении, законоведении.

6. Наконец, для обоих авторов очевидно, что необходима грамматика, как «искусство в языке», предопределяющая сознательный отбор лингвистических средств. Гуманистический тип образования, и, следовательно, способ рассуждения проявляются в требовании рациональности грамматики: язык соотносится с формой как мысль с содержанием.

Бембо описывает идею грамматики, подобную той, что была в латинском языке. Такая грамматика определила статус латыни, как языка культуры и науки; она, как средство, позволяла сохранять в дальнейшем чистоту языка. Для автора значима полифункциональность грамматики. Но Бембо, может быть, первый из полемистов своего времени, предлагает учиться у классиков "volgare", а не латыни. Его эстетически-эмпирический подход к языку повлек за собой туризм и стилизаторство, а отказ от народных языков как языковой практики — эклектику. Принцип письменного языка: "le più pure, le più monde, le più chiare... le più belle e grata voci" (Bembo 1989, 154), — обрек итальянский литературный язык на пребывание в статичном состоянии в течении двухста лет.

Поскольку для Крижанича «сам Рускиј језик на троје јест раздълен» (Крижанич 1891, 28): книжный, разговорный и «белорусский», постольку «граматичны правила» (в результате последовательного сравнения сербских и хорватских склонений и окончаний) выбираются хорватские, исходя из того же требования чистоты языка от иноязычных влияний. В свою очередь единая грамматика прекратит «шатости въ божјей циркве» и даст единообразие в «изправљенји језика». Крижанич предлагает составленные им по мере сил и возможности «граматику и лексикон, спраеленные добре», чем у Смотрицкого (его предшественник работал тщательно и для общей пользы, но допустил много греческих и латинских заимствований).

Традиционализм культуры, как правило, не допускает новизны, не подтвержденной аналогиями с некими не вызывающими сомнения прообразами. Безусловно, Юрий Крижанич, обладавший незаурядным лингвистическим чутьем, увидел современный прецедент успешной реализации языковой концепции итальянских грамматистов. Близость лингвистических выступлений его и Бембо показывает, что первый мог быть знаком с полемикой о литературном итальянском языке XVI–XVII вв. Эта гипотеза позволяет снять предубеждение против языковой программы Ю. Крижанича как беспрецедентной и дилетантской.

Крижанич определяет чистоту **разговорного** языка исходя из дистанции к древним (с его точки зрения) текстам, по частоте лексических совпадений он делает вывод об относительной древности данного наречия, — и переносит это заключение на этнос и затем на локус. Анализ логического построения, которым Крижанич последовательно «экзаменует» каждую славянскую народность, позволяет, в частности, предположить, что его концепция исхода всех славян от «русиноев» вытекает из славянской языковой идеи этого «ученого хорвата», а не наоборот. Мы имеем возможность наблюдать заимствование способа **рассуждения** у весьма политических итальянских грамматистов (в свою очередь это является хронологически более ранним наложением латинской грамматической идеи на греческую) в рамках идеи *Slatvia Latina* с результатом, совпадающим в одних и тех же дистинктивных позициях грамматики, в концепции Крижанича и русских грамматистов уже XVIII в.

### Литература

- Крижанич 1665 — Крижанич Юрий. Граматично изказанје об руском језику (1665). М., 1859.
- Крижанич 1660 — Крижанич Юрий. Објасњење виводно о письмъ словѣнском (1660–1661) // Крижанич Юрий. Собр. соч., вып. 1. М., 1891 (В. Н. Колосов).
- Крижанич 1663 — Крижанич Юрий. Политика (1663–1666). М., 1965.
- Белокуров 1901 — Белокуров С. А. Ю. Крижанич в России. М., 1901.
- Гуковская 1940 — Гуковская З. В. Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения. Л., 1940.
- Соловьев 1991 — Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 11. М., 1991.
- Успенский 1975 — Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975.
- Успенский 1987 — Успенский Б. А. История русского литературного языка. Мюнхен, 1987.
- Флоровский 1991 — Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- Челышева 1990 — Челышева И. И. Формирование романских литературных языков. М., 1990.
- Bembo 1989 — Bembo Pietro. Prose della volgar lingua... Milano, 1989.

## **Адаптация авторитетной югозападнорусской грамматики в Московской Руси XVII в.**

### **1.0. Вводные замечания**

«Специфика эволюции литературного языка (и вообще языковой нормы) состоит в том, что языковые процессы определяются представлениями о языке самих носителей языка» (Успенский 1971, 845). Таким образом, языковое сознание, определяющее телеологию развития языка и в силу этого являющееся одной из его динамических моделей, представляет особую эвристическую ценность.

Ключевое значение для реконструкции языкового сознания книжников конца XVI–XVII вв., имеют данные, относящиеся к их метаязыковой деятельности, и в первую очередь, данные грамматик. Глоссы, исправления в ходе процесса «книжной справы», аргументы во время богословско-лингвистических споров дают возможность выявить отдельные принципы видения языка его носителями, однако не всегда формируют целостную картину. Первые грамматики славянского языка, возникшие в целях его охранительной нормализации в Юго-Западной Руси в конце XVI — начале XVII вв., занимают особое место в развитии филологической традиции. «Тематическое разнообразие в сочетании с систематизированностью разработки основных тем делают жанр грамматик в XVI–XVII вв. самой универсальной и полной для своего времени книгой о языке, в наибольшей степени представляющей раннюю филологическую традицию» (Мечковская 1984, 35). Систематизируя нормативные формы, выдвигая правила их образования и идентификации, грамматика концентрирует в себе наиболее специализированное знание о языке, понимание структуры языка его носителями, эксплицирует языковой идеал социума. Одновременная фиксация в грамматическом описании языка и мысли о языке, составляющая специфику жанра, делает грамматику потенциально неисчерпаемым источником для истории литературного языка.

Ранние грамматики славянского языка всегда были и продолжают оставаться предметом пристального внимания ученых. Грамматики, созданные в результате усвоения инокультурной (прежде всего греческой) традиции, исследовались в плане источников, в плане их соотношения с грамматиками классических языков. Изучению подвергалась «анатомия» грамматик — их композиция (как способ организации структуры описания), принципы отбора и систематизации материала, состав рубрик и кодифицированных в них элементов. При этом кодифи-

цированная в грамматиках норма словоизменения сопоставлялась с той нормой, которой реально руководствовались в своей письменной практике «книжные люди» этого времени. Данные грамматик также использовались и как источник сведений о грамматическом строе живого языка периода их появления. В целом, в существующих работах в этой области исследованию в том или ином аспекте подвергались зафиксированные в грамматических описаниях (1) язык и (2) представления о его структуре авторов этих описаний.

В данной статье предпринимается попытка реконструкции принципов видения языка его носителями в определенную эпоху не по отношению к сознанию, «порождающему» грамматическое описание — уровень механизма порождения, а по отношению к сознанию, воспринимающему этот текст — уровень механизма восприятия. Сформулированный подход позволит решить или, по крайней мере, наметить пути решения проблемы бытования грамматики в социуме. Речь идет не столько о том, как, в какой мере книжник пользовался грамматическими руководствами в своей практике, насколько успешноправлялся он с задачей извлечения из парадигмы нужной в данном контексте формы, — такая постановка вопроса априорно предполагает, что грамматика в целом уже принята им как способ нормирования языка и воспринята в большей или меньшей степени, сколько о этапах и формах вхождения текста грамматического описания в социум.

Оптимальной для экспликации самосознания культуры (в частности — ее языкового сознания) является ситуация диалога с иной культурой, когда она «обнаруживает и впервые формирует свои новые смыслы, формы, устремления» (Библер 1991, 104). Поэтому выявление механизма восприятия текста грамматики в инокультурном социуме предоставляет максимальные возможности для реконструкции языкового сознания представителей этого социума. В то же время, взгляд «извне» способствует углублению нашего осмыслиения самого воспринимаемого текста, актуализирует те особенности языка-объекта и метаязыка грамматики, которые оставались не выявленными при контактном рассмотрении.

Ситуация диалога грамматики с инокультурным языковым сознанием возникает в первой половине XVII в., когда в Московскую Русь наряду с другими изданиями, активно ввозимыми из Руси Юго-Западной, попадают первые грамматики славянского языка (Шляпкин 1891, 118–134, Эйнгорн 1894, 1–10, Харлампович 1914, 97–143). Появление грамматик в Юго-Западной Руси свидетельствует о том, что там к концу XVI в. под влиянием факторов социолингвистического характера (особенностей структуры культурно-языковой ситуации) сложилось новое, отличное от традиционного, характерного для Руси Московской, отношение к цсл. языку. После второго южнославянского влияния языковая ситуация Юго-Западной Руси формируется по западной модели, предлагающей сосуществование двух литературных языков: наряду с цсл. языком (югозападнорусской редакции) в функции литературного языка выступает «проста» или «руска мова». Наличие двух литературных языков, конкурирующих друг с другом, определяет

более строгий подход к системе требований, предъявляемых к литературному языку (знание языка предполагает активное им владение, а понимание текста — возможность его интерпретации), необходимость теоретического обоснования его достоинства. Это, в свою очередь, приводит к созданию нового типа лингвистического описания — грамматики, с которой «связан новый, аналитический способ осмыслиения языка (путем систематизации языковых элементов и правил их выбора); новый подход к нормированию языка (путем кодификации языковых норм в грамматических описаниях в отличие от презентации нормы в образцовых текстах); новый метод обучения языку (путем экспликации грамматической системы в сознании учащихся в отличие от обучения языку путем многократного прочтывания нормативных текстов)» (Мечковская 1985, 16).

Между тем в Московской Руси, реализующей восточную культурную модель, продолжает функционировать один литературный язык — цсл. язык (великорусской редакции). Доминирует традиционное неконвенциональное отношение к цсл. языку как средству выражения Богооткровенной истины, которое исключает саму возможность существования системы правил порождения новых текстов (см.: Успенский 1994, т. 1, 7–25). Традиционализму подчинены и сочинения о языке, преимущественно орфографические руководства, призванные обеспечить стабилизацию рукописной традиции и обучение грамоте (Живов 1986, 85).

Таким образом, определение характера бытования авторитетной югозападнорусской грамматики в Московской Руси в первой половине XVII в. даст возможность проследить диалог различных культурно-языковых моделей, выявить зоны влияния и отторжения двух лингвистических идеологий.

## 2.0. Бытование грамматики Лаврентия Зизания в Московской Руси

Материалом исследования служит «Грамматіка словенска съ-  
вершенного искусства осми частій слова, и инъих изъдиъх» Лаврентия Зизания (Вильна, 1596 г.) (далее ГЗ). Выбор этого текста обусловлен рядом обстоятельств. ГЗ — первая грамматика славянского языка («зри же тако и перва есть словенскама грамматіка»). Соответственно, для великорусских книжников это первая встреча с принципиально новым типом грамматического описания, реализующим иное, отличное от их собственного, отношение к литературному языку, иную лингвистическую идеологию. Строгая композиция ГЗ, ее небольшой объем, однозначно определенный адресат («спудеи» братских школ), установленный круг источников делает этот текст «поддающимся» аналитическому разбору в большей степени, чем текст «наиболее совершенной» (Успенский 1994, т. 2, 15) и вместе с тем более загадочной грамматики Мелетия Смотрицкого 1619 г.

Характер бытования ГЗ в Московской Руси позволяют определить ее рукописные версии, выполненные великорусскими книжниками в первой половине XVII в. На протяжении этого периода реакция в Мо-

сковской Руси на издания Юго-Западной Руси претерпевает принципиальные изменения: от непримиримого неприятия югозападнорусской книжности к ее активному использованию. Смену культурно-языковых ориентаций великорусских книжников отражает неоднородность бытующих версий Г3. В начале XVII в., когда определяющей идеологической установкой в Московской Руси являлся изоляционизм, создаются редакции, свидетельствующие о скрытом конфликте двух культурно-языковых моделей — восточной и западной. «Состязательный», полемический характер этих редакций проявляется в радикальных изменениях, внесенных в Г3 как на уровне системы кодифицированных языковых элементов, так и на уровне их интерпретации. Рукописные версии грамматики, по времени своего создания приближающиеся к середине XVII в., когда в столкновении Востока и Запада «побеждает Киев» (Флоровский 1991, 81), отражают уже иное отношение к книжности Юго-Западной Руси. Великорусские книжники в целом принимают Г3 как тип описания языка, подвергая ее относительно небольшим изменениям, что позволяет говорить о «согласительном» характере создаваемых ими редакций (Кузьминова 1996).

Одной из наиболее интересных рукописных версий Г3 является «Книга глагола грамматика по языку словенскому. Составленая древними любомудрцы Паламидомъ, Т Кадмосомъ Т Дионисомъ грамматикомъ, преж рожества хвя тако лѣт за ф. Т вѧтиши» (далее Гр1). Гр1 входит в состав рукописного сборника РГБ, ф. 299, ед. хр. 336, лл. 1–23. Сборник датирован 1622 г. Рукопись размером в 4° занимает 207 листов, написанных полууставом. На лл. 1–8 расположена владельческая запись: «Сия книга Свѧтальского Спаского Евфимиева монастыря архимандрита птирина». Наряду с Гр1 в сборник входят статьи грамматического характера.

Гр1 появилась в результате внутренней полемики с языковыми взглядами Лаврентия Зизания великорусского книжника, исходная установка которого состояла в создании оригинального грамматического трактата. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в тексте изменено название Г3 и отсутствует имя ее автора — Лаврентия Зизания. Авторство Гр1, как следует из ее названия, принадлежит древним любомудрцам Паламиду, Дионису и Кадму, которые были известны великорусским книжникам по трактату черноризца Храбра «О письменахъ» как создатели греческого алфавита. «По прѣждѣ сего єллинине не имѣхъ своимъ языкомъ писменъ, но финикийскими писмены писахъ свою рѣчь. и тако бѣша многа лѣта. панамидъ же послѣждѣ пришедъ, наченъ ѿ алфы и виты, ѿ писменъ тѣкмо єллининомъ обрѣте. прѣложи же намъ кадмъ милисий писмена Г... по мнозѣхъ же лѣтъхъ дионисъ грамматикъ, ѿ двогласиъхъ обрѣте...» (Ягич 1885–1895, 299). Кадм и Паламид — это не реально существовавшие люди, а мифологические герои (согласно преданиям, Кадм не только придумал греческий алфавит, но и убил дракона и посеял его зубы, из которых выросли прароди-

тели знатнейших беотийских родов). Что касается Диониса, то, по-видимому, книжник вслед за Храбром называет этим именем популярного в средние века Александрийского грамматика Дионисия Фракийского, жившего во II в. до н. э. и потому не участвовавшего ни в создании, ни в реформировании алфавита. интересно, что если имена легендарных изобретателей письма Паламида и Кадма взяты Храбром из греческой традиции, то Дионисий Фракийский оказался в этой компании случайно (третьим обычно греки называли Симонида). Не исключено, что эпитет «грамматик», употреблявшийся обычно рядом с именем Дионисия, был понят славянскими писателями как «изобретатель букв».

Реальный автор Гр1 нам неизвестен. Однако не подлежит сомнению, что это был именно автор, а не авторы: в метаязыковых высказываниях последовательно используется форма единственного числа, авторское «я»: *«Рекъ же мало что отвѣтно к зазирающим мн о въображеній различій гласнъх писмъ гдм сице...»*; *«Не обкорна ж лаврентіа, ниже себе мдрѣниши того хотѧ явити, о сицевъх рекохъ здѣ но да точно истиннѣишие благочестивым явѣ вѣдетъ, како бо аз грѣхъ лаврентіа похвлю, многъ бо разумъ во осмочастії грамматицѣ ѿ него прнім»* (пл. 5, 22–22 об.).

Сознательная мистификация читателей, на наш взгляд, была вызвана вполне определенными причинами и преследовала не менее определенные цели. Обращение к авторитету древних любомудрцев, трудами которых была составлена (а не новосъставленна, как Лаврентием Зизанием) грамматика славянского языка, обусловлено традициональным характером средневековой культуры. «Средневековый автор, открывая или создавая новое,вольно или невольно стремился представить свое новое как чужое старое. Не было убедительней довода, чем ссылка на авторитет далекого прошлого» (Мечковская 1984, 20, 21). Так, например, подлинный новатор Иван Федоров пишет в предисловии к своему Букварю: *«Сѧ єже писахъ вамъ, не ѿ себл, но ѿ вѣкѣстѣннъхъ апѣтль и егносиныхъ стыхъ отцъ ученіа и прпдѣнаго отца нашего Іоанна Дамаскина, ѿ грамматики, мало нечго...»* (цит.: Мечковская 1984, 21).

То, что создателями грамматики названы именно греки, связано с вопросом достоинства (*dignitas*) славянского языка, с *questione della lingua* в рамках *Slavia Orthodoxa*, столь актуальным для восточнославянской книжности XVI–XVII вв. Приписывание авторства греческим любомудрцам «придает» кодифицируемому в грамматике славянскому языку достоинство, равное достоинству языка греческого, статус классического языка греко-славянского мира. Существенно важным является также тот факт, что Паламид, Дионис и Кадмос в сознании книжника XVII в. не просто философы, а прежде всего создатели греческой азбуки, греческого письма. Как известно, в греческом алфавите в отличии от славянского, большинство строчных и прописных букв имеют разные написания (А α, Н η и т.д.). На эту особенность

греческого письма ориентировался автор Гр1 в предлагаемой им «реформе» славянской орфографии (см.: 3.2.1.). Таким образом, Паламиду, Дионису и Кадмосу, создавшим, согласно представлениям того времени, греческую письменность с двояким начертанием строчных и прописных букв, приписывается авторство грамматики славянского языка, где, в частности, предлагается преобразовать славянскую графику по образцу греческой.

В основе полемики автора Гр1 с языковыми взглядами Лаврентия Зизания — различное понимание ими сущности грамматического искусства. Для рассматриваемого периода можно говорить о двух традициях использования термина «грамматика», в разной степени актуальных для Московской и Юго-Западной Руси. В Юго-Западной Руси более характерным являлось понимание грамматики как описания многоуровневой системы языка. В то время как Московской Руси грамматикой в буквальном соответствии с этимологией этого слова (грамматика — в греческом языке — прилагательное, производное от γράμμα «письмо», «буква») называлась наука о письме, «искусство его воспроизведения» и «наука по его расшифровке» (Колесов 1991, 211), графическая и орфографическая «премудрость». Так, в одном из азбуковников XVII в. грамматика определена следующим образом: «Грамматичество есть се, разъмѣти како и коими словъмы азбучными, како рѣчъ писати и как сила надъ коемъжто рѣчию поставлати... и єже разъмѣти наконъкъ потребъ азбучнамъ писмена раздѣляются и єже колико ѿ нихъ согласныихъ письменъ, и колико ѿ нихъ двогласныихъ, и паки разъмѣниe как суть во азбучѣ нарѣцаются краткия слоги и как ли долгия слоги, и єже которое просодіе прненметъ долгіи слогъ, кое же краткий» (цит.: Карпов 1878, 184–185).

«Грамматичество» и «ѹченїе грамматичное» употребляются в качестве синонимов словосочетания «ѹченїе вѣквици» в статье «Ѹченїе вѣквици вкратцѣ» (Ягич 1885–1895, 1001–1002). Грамматикой назывались орфографические руководства («Грамматичество» — см.: Ягич 1885–1895, 993–995) и буквари (Успенский 1971, экскурс 8, XXIV–XXV).

Традиционное понимание грамматики как учения об основных элементах кода цсл. письма (буквах, надстрочных знаках и знаках препинания) эксплицировано в толковании к определению орфографии в Гр1, которое заменяет соответствующее толкование Г3: «Грамматика есть пѣвное вѣданїе, сирѣчъ оудареній и потагнѣтїй в словах разъмѣниe і паки грамматика есть сказанїе о книжныхъ писмохъ єж какова суть тѣхъ лица, і что та именуются, і како тѣхъ слоги составляется, вслѣдъ имъ і рѣчъ» (пл. 1–1 об.).

Описание грамматического устройства языка являлось особой областью знаний о языке, имевшей в рукописных грамматических сочинениях устойчивое название «осмочастіе», «осмочастій разъмѣнъ».

«осмочастное Ученіе». При этом две сферы грамматического искусства в сознании книжников были строго дифференцированы. Различие грамматики и осмочастия специально оговаривается в азбуковнике старшей разновидности «Книга глѣмѧ алфавитъ...», где толкование грамматики дается через противопоставление осмочастию: «грамотнка, тонкое разъяснение книжных пословицъ, тонкогласных и дебелогласных, противъ осмочастія» (цит.: Ковтун 1989, 176).

В предисловии одного азбуковника начала XVII в. грамматика и осмочастие рассматриваются как две разные, нетождественные друг другу области знаний о языке: «Да всѧк желалъ осмочастное і грамматичное обученіе изящее навыкиути будоно всѧ та возможет обрѣсти по чину положена» (цит.: Петровский 1888, 12). Как о двух разных сферах книжной премудрости пишет о грамматике и осмочастии и автор Гр1 в слове, обращенном к Лаврентию Зизанию: "многъ разъмъ во осмочастіи і грамматици ѿ него прый" (л. 22 об.).

Понимание автором Гр1 грамматики как орфографии определило характер и направление основных изменений текста Г3 в редакции, и в первую очередь, расширение орфографического материала при значительном сокращении морфологии.

Изменения, внесенные книжником в систему кодифицированных элементов (СКЭ) и в их интерпретацию (И) по отношению к исходному тексту могут быть классифицированы следующим образом:

#### I. Изменения-сокращения Г3.

— СКЭ: сокращение объема описываемого языкового материала, то есть исключение из текста Г3 описания конкретных языковых фактов.

— И: исключение информативно избыточных высказываний, не содержащих необходимой для понимания текста Г3 или принципиально новой содержательно-фактуальной информации.

#### II. Изменения-наращения Г3.

— СКЭ: введение описания новых, не представленных в Г3 языковых фактов.

— И: введение интерполяций, уточняющих или дополняющих метаязыковые высказывания Г3.

III. Изменения в узком смысле слова, то есть замены, при которых один элемент текста заменяется другим.

— И: изменение представленной в Г3 трактовки языковых фактов.

### 3.0. Изменения, внесенные в систему кодифицированных элементов

#### 3.1. Изменения-сокращения

Глава «О **етимології**», занимающая в Г3 69 л. (л. 15 об.–84 об.), в Гр1 излагается на двух листах (л. 18 об.–20 об.) и состоит из двух переработанных разделов Г3 — введения и главы «**О имени**» (л. 19 об.–42). При этом парадигмы склонения, составляющие основу этой главы в Г3, в Гр1 исключены.

Характер изменений, внесенных автором Гр1 в текст вводного раздела и главы «**О имени**», свидетельствуют о его стремлении привести морфологический раздел Г3 в соответствие с «грамматическим каноном» православия — статьей «**О шести<sup>х</sup> част<sup>х</sup> слова**».

Из текста Г3 устраняются разделы,

а) отсутствующие в статье: классификация частей речи на склоняемые и несклоняемые, определение имени, классификация имен на собственные и нарицательные, классификация имен на существительные и прилагательные, списки флексий косвенных падежей существительных при описании всех типов склонения;

б) содержащие иную, отличную от представленной в статье трактовку языкового материала: перечень и определения последующих. В статье имя характеризует пять послѣд<sup>ь</sup>юющ<sup>их</sup>: «послѣд<sup>ь</sup>юща же именемъ со<sup>тъ</sup>ть пять. роди, види, начертаній, числа, падежи» (Ягич 1885–1895, 337), в Г3 — семь, в число послѣд<sup>ь</sup>юющ<sup>их</sup> включены также раз<sup>ъ</sup>жденіе и склоненіе. Классификация видов имён в Г3 также не согласуется с предложенной в статье: если в осмочастии «видъ же именъ дѣлится в сѧ: в перво<sup>ъ</sup>зъгно и дѣиствено и повѣстно и рододатно» (Ягич 1885–1895, 337), то в Г3 имена разделяются на два вида — первообразный и производный, который в свою очередь имеет шесть образов: «отеческаа, властнаа, газъческаа, обнадигельнаа, юниеннаа, глагольнаа» (л. 23–24 об.).

Интерполяция, введенная книжником в текст грамматики, представляет собой компиляцию, созданную на основе текста статьи:

#### Гр 1

#### "О шести<sup>х</sup> част<sup>х</sup> слова"

Склоненія же граммотицы именуют прочал з частій слова, осмь частій со<sup>тъ</sup>ть слова, имена же аже наричуются огланія йменю, о всѣхъ яко основаніе, прочал же имена бо глютсѧ, и за се склоненія овбо частіи огланія со<sup>тъ</sup>ть именю, о наричуются, а не падежи. Ино бо имена бо глютсѧ, ввлючи страсть есть падежи, і ино склоненія. Есть или дѣиство... же і имене склоненіе і мъжеска і

женска й средна. Мъжеско ю кончаемое на єръ, тако петръ паве-  
ль. І паки то ѿ єра склоняется на  
єръ, тако ѿ, цръ. І паки тож мъ-  
жеско ѿ єра склоняется на азъ,  
тако владка, косма, лука, фома. І  
еще тож ѿ єра склоняется на  
иже, тако, василии, ион, николан,  
їерен, змий і прочал.  
(л. 19-19 об.).

Имя овъо дѣлится на трое :  
мъжеско и женско и средне...  
...Имя вгъ, оцъ, снъ, дхъ  
стъ, агтъ, члѣкъ, петръ, павелъ  
воздухъ, вѣтръ. Елика сим подоби:  
кончаема на єръ. Іна же мъжескі  
кончаются на єръ, такоже се, гсдъ  
цръ, дождь, огнь, есть же мъжескі  
кончаема на азъ, тако же се; владка  
козма, ермола. (Ягич 1885-1895  
338, 760-761).

Характеристика каждого типа склонения в Гр1 сопровождается иллюстрацией. Для семи типов склонения (с четвертого по десятый) в качестве примеров использованы слова, (1) парадигмы которых (исключенные автором Гр1) приводятся в Г3: 4 — лука, дба, 5 — плааница, съдія, 6 — ствѣръ, конь, море, спасеніе, 7 — стын, блгн, 8 — мати, дци, стаіа, 9 — овста, овстна, 10 — ион, їерен; (2) входящие в списки слов, относящихся к соответствующему типу склонения, которые помещены в Г3 после парадигм: 6 — волъ, отнь, кончаніе, причастіе, 9 — братъ, 10 — лой, гной. Примеры же слов первого, второго и третьего склонений взяты не из Г3, а заимствованы из статьи «О шемнхъ частѣхъ слова». Первые три типа склонения (к первому относятся слова только мужского, ко второму — женского и к третьему — среднего рода) образуют своего рода подсистему, аналогичную системе именного словоизменения статьи, состоящей из трех типов склонения в соответствии с тремя родами. Эта формальное тождество определило возможность использования книжником языкового материала статьи: «первое склонение мъжеска ймене на єръ, такоже вѣши речесъ [ссылка на предшествующий текст — цитированную выше интерполяцию, созданную на основе статьи] є-е склоненіе женска ймене, на єръ й на єръ, тако плоть, кровь. Ї-е среднихъ йменъ, кончанихъ на азъ, й на о, й на а, тако существо» (л. 19 об.). Примеры слов женского и среднего рода плоть, кровь и существо использованы в разных редакциях статьи «О шемнхъ частѣхъ слова» (Ягич 1885-1895, 336, 760, 762).

Необходимость такой трансформации проистекала из принципиально различного характера представления грамматического материала в Г3 и в статье «О шемнхъ частѣхъ слова». Описание системы словоизменения, системы исходных элементов, необходимых для порождения нового текста, содержащееся в Г3 и составляющее ее основу, в «осмочастій» отсутствовало. Репрезентация морфологического уровня здесь имела максимально обобщенный характер, недостаточный для кодификации нормы цсл. языка. Именно в силу этого минимизация морфологического материала в Гр1 осуществлялась, главным образом,

за счет исключения из текста грамматики наиболее важных ее частей, посвященных описанию именного и глагольного словоизменения, включающих в себя парадигмы склонения и спряжения, то есть тех частей Г3, где содержится кодификация грамматической нормы цсл. языка. Что же касается форм словоизменения, то традиционным способом их представления являлся «грамматический словарь» типа «Книга глагола въквы» (Живов 1986). Автор Гр1, оставляя в «*Стилологии*» определения основных понятий и общую схему словоизменения (по типу «*осмочастія*»), дополняет Гр1 таким грамматическим словарем «Книга глагола въквы грамотичнаго обученія» (лл. 23–57 об.), который служит своего рода функциональной заменой исключенных из Г3 морфологических разделов.

### 3.2. Изменения-наращения

Расширение орфографического материала в Гр1 достигается за счет введения новых элементов кода цсл. письма (графем и надстрочных знаков) и перечня «прегрешений», допущенных Лаврентием Зизанием.

3.2.1. В орфографическом разделе Г3 (как и в предшествующей грамматической традиции) особое внимание уделяется проблеме орфографической дифференциации грамматических омонимов. Как объясняет Лаврентий Зизаний в толковании к определению орфографии, основное ее назначение состоит именно в снятии грамматической омонимии: «Орфографія есть первая часть грамматики, которая нас обучит алфавиту каждого письма на его языке писали. Тако, быва, да не въпишемъ въмѣсто єръ, и, и будеть ино, биша, и богою, да не волнишемъ также въмѣсто о, ѿ, ибо ино есть богою, иное богою также же и прочаа» (л. 2). Дифференциация грамматических омонимов на орфографическом уровне в Г3 осуществляется посредством использования пар дублетных букв а — я и о — ѿ: в ед.ч. пишутся а и о (даша моя, богою), во мн.ч. — я и ѿ (юноша, члкшиъ). Дублеты ѿ и ѿ используются также для противопоставления наречий и кратких прилагательных среднего рода (достойно — достойни).

Тенденция к дифференциации омонимичных грамматических форм, являющаяся реализацией общего стремления к однозначному соответствуанию плана содержания и плана выражения, появилась в восточнославянской книжности в результате второго южнославянского влияния. Использование орфографических признаков для различения омонимов впервые отчетливо проведено в трактате Константина Костенеческого «О письменехъ», где форма единственного числа единица противопоставляется форме двойственного числа единиц (Ягич 1885–1895, 416). Этот принцип получил дальнейшее развитие в трактате «О множествѣ и о единстве», в котором предлагается последователь-

но различать правописание омонимичных форм единственного и множественного числа. Автор этого трактата противопоставляет буквы *о*, *ь*, *и*, *я*, *ү*, которые пишутся в формах ед. ч., буквам *ш*, *ъ*, *ы*, *я*, *ө*, которые пишутся в формах мн. ч. (агломъ — агглэмъ, азбучникъ — азбучникъ, азбукы — азбукы, апльская — апльская).

Сама идея использования орфографических средств для разграничения грамматических омонимов принимается автором Гр1 и признается им весьма плодотворной. «Лаврентий Зинзаний... объясни различие множественных Т единственных писменъ онъм кръглым... и то онъ добрѣ рече» (л. 3-3 об.). Однако конкретная реализация этой идеи, представленная, в частности, в Г3, вызывает у книжника ряд возражений. Во-первых, автор Гр1 выступает против использования в качестве «числовых» показателей помимо пар дублетных букв (*о* — *ш*), лишенных фонологического значения, пар *и* — *ы*, связанных с обозначением твердости-мягкости согласных, поскольку в ряде случаев употребление этих букв противоречит реальному произношению. «А єже Лаврентий Зинзаний во своим грамматицѣ повелѣваетъ нам виѣсто, я, къ единственным рѣчам, азъ писати, ко множественным же виѣсто аза, я писати, въ сицеъвъхъ моа дѣла Т паки наша срѣда Т наша дѣла і въ томъ онъ погрѣшилъ. первю рѣчу дѣвель Т нѣмъ сотвори. дрѹгъ же молодавъ введ, обѣ рѣчи същаго ихъ свойства обнажиенъ» (пл. 1 об.—2 об., 21-21 об.).

Во-вторых, его возражения вызывает и употребление буквенных показателей числового значения не в абсолютном конце слова (бигумъ). Такое написание противоречит, по мнению книжника, данному в статье «О исмѣхѣ частѣхъ слова» определению «паденія» как последней буквы слова: «есликомъ во рѣчѣ і имене паденіе... послѣднєе писмо нарічется» (л. 3 об.—4).

Чтобы устраниТЬ два указанных недостатка орфографического способа дифференциации омонимичных грамматических форм единственного, двойственного и множественного числа, представленного в Г3, автор Гр1 предлагает реформировать славянскую орфографию по модели греческого алфавита, где строчные и прописные буквы пишутся по-разному, и ввести «двообразное» написание всех гласных букв, то есть увеличить число оппозиционных графем: «нашъ слованомъ... вси аї гласныхъ писмана двообразна требѣ притяжати, обѣденіа ради единственного і множественного разъма во именахъ же і рѣчехъ... Ихъ же двообразна лицо есть а, а, е, е, и И, И, о, о, ш, ш, ы, ы, ь, ь, я, я. Тако бо і во єльниохъ гаснамъ писмана вси двообразна суть» (пл. 4-4 об.). Первый вариант написания используется в ед. ч., второй в дв. и мн.: аггела єдинаго — аггела два, чака единаго — чака два (Р. ед.— И-В дв.), свои — свои (И ед.— И мн.), рукою свою — рукою твою (В ед.— Р-М дв.), жены единок — жены многи (Р. ед.— И-В мн.).

сѧ жена — сѧ женъІ (И ед. — И-В мн.), црл моего — царл многи (Р. ед. — В мн.) и т. д. (л. 4 об.).

Существенно важно, на наш взгляд, то, что графико-орфографические нововведения автора Гр1 по сути своей имеют традиционный характер, то есть ориентированы на традицию, на освященные этой традицией источники: грамматический канон «осмочастие» и модель греческого языка.

3.2.2. Репертуар надстрочных знаков — просодий, описываемых в рукописных орфографических руководствах, значительно шире набора просодий, представленного в Г3 (три ударения — оксия, вария, облеченная; знак приыхания — краткая, знаки количества гласных — долгая, краткая), что было обусловлено общим стремлением, вызванным вторым южнославянским влиянием, к усложнению кода цсл. письма (см.: Мечковская 1985, 20–22). Так, например, в статье «Книга глагола въкѣ» описано употребление десяти просодий, в статье «Написаніе языком словенским о въкѣ и о ём писменех» перечислено четырнадцать надстрочных знаков (Ягич 1885–1895, 642–644, 731–732).

Ориентируясь на традиционные грамматические источники, автор Гр1 включает в Г3 описание новых надстрочных знаков. После перечня просодий вводится интерполяция, в которой перечислены семь надстрочных знаков, не входящих в перечень Зизания: «Сѧ же в словенских обретаются присовокуплена шестъма онѣмъ, именемъ сице апостроѳъ, кавѣки, кенъдема, закрѣтам, титла, покрѣйтѣ, и звателна» (л. 8 об.). Описания двух из них — апострофа и и звательной включены книжником в текст Гр1 (л. 14–14 об, л. 15).

3.2.3. Во второй части «Канонов» автор перечисляет допущенные Лаврентием Зизанием «прегрешенїа» — те языковые факты, кодифицированные в «линтовской грамматической книгѣ», то есть являющиеся нормативными в цсл. языке юго-западного извода, которые ненормативны с точки зрения московского извода цсл. языка. «Також і в просодіїхъ і в слозъхъ, літговскій грамматичній книгѣ, словенскаго языка тонкостномъ разъмъ не согласны. Пишет бо в грамматикахъ тѣхъ сице, в конци или на конци строки. I паки, вмѣсто цю, пишет цръ, і вмѣсто прю, пишет пръ і вмѣсто совѣтъю, і пользю, і второни, пишет, совѣтъю, пользю, второй, і ина мнига не согласна словенскому языку» (л. 22).

Все, что автор Гр1 классифицирует как «ошибки» против словенского языка, не соответствует норме цсл. языка московского извода, но является нормативным в югозападнорусском изводе.

Так, в М. падеже единственного числа существительных мужского и среднего рода мягкого типа склонения в Московской Руси норма-

тивным является окончание **-ѣ** (то есть в концѣ, а не в конци), которое используется писцом вместо **-и** Г3 (в конци  $\Rightarrow$  є л. 3 об.–7 об.).

В югозападнорусских богослужебных книгах окончание М. единственного числа **-и** московские справщики последовательно заменяли на **-ѣ**. (Сиромаха 1981, 106–107). Аналогичное исправление вносится иосифовскими справщиками в грамматику М. Смотрицкого при подготовке ее первого московского издания (Булич 1893, 404; Горбач 1964, 16). Ученые, обращавшиеся к сопоставительному анализу двух изданий грамматики М. Смотрицкого (1619 и 1648 гг.), рассматривают данные исправления как отражение процессов унификации склонения существительных, свойственных живой русской речи и выразившиеся в данном случае во влиянии твердой разновидности склонения соответствующих существительных на мягкую (Кузнецов 1958, 34, Горбач 1964, 19).

Следует отметить, что лингвисты, занимавшиеся изучением цсл. языка Юго-Западной Руси XVI–XVII вв., склонны усматривать в особенностях употребления окончаний **-ѣ** и **-и** в М. падеже, помимо следования «старине», также и проявление фонетического неразличения [ѣ] и [и] в этом языке (Карский 1962, 552, Житецкий 1899, 127–128). П. И. Житецкий подчеркивает выдержанное употребление окончания **-и** в «книжной малорусской речи XVII в.» и видит в этом одно из отличий этой речи от «великорусского наречия, в котором окончание **-и** заменено **-ѣ** в мягком склонении имен» (Житецкий 1899, 66).

Различие в написании гласного после **р** (**ъ** — в юго-западном изводе цръ, пръ, ю — в московском изводе црю, прю) имеет фонетический характер, отражая различия в произношении по признаку твердости / мягкости [р] в юго-западном и московском изводах цсл. языка. Можно думать, что в нем, в свою очередь, нашло отражение различие фонетических процессов, характеризовавших развитие украинского и белорусского языков, с одной стороны, и русского языка, с другой: в большей части говоров украинского и белорусского языков имело место отвердение [р] (см.: Борковский, Кузнецов 1963, 163). Наличие написаний с «твёрдым» согласным **р** в юго-западных памятниках XVII в. отмечает Е. Ф. Карский, который квалифицирует эти написания как проявление отвердения [р] на юго-западной языковой территории (см.: Карский 1962, 550). И. И. Огиенко, предметом исследования которого послужил Креховский Апостол XVI в., написанный «простой мовой», также указывает на твердость произношения губных и [р], проявляющуюся в языке переводчика Апостола (Огиенко 1930, т.2, 278–280). Таким образом, написание **ъ** после **р** входило в норму цсл. языка юго-западного извода наряду с **ю**, в то время как в Московской Руси единственно нормативным является написание с **ю**. Об этом, в частности, свидетельствуют и материалы исправлений кавычных книг, где московские справщики последовательно заменяют **ъ** после **р** на **ю**. (Сиромаха 1981, 91).

Расхождение норм двух изводов цсл. языка в акцентовке, отчетливо ощущавшееся самими носителями языка (*сөвѣтъю*, *пôлзъю*, *вѣброй*) (классификация и анализ различий такого рода см.: Горбач 1974, 38–46, Успенский 1971) могло быть вызвано изначально различным происхождением великорусского и югозападнорусского цсл. произношения: киевская традиция и южнославянское влияние являются источниками югозападнорусского произношения, новгородская традиция и западнославянское влияние — великорусского (Успенский 1971, 356, 461–462).

Таким образом, автор Гр1 в «Канонах Орфографии» устанавливает минимальный набор наиболее значимых (и/или наиболее очевидных для него) признаков, определяющих дистанцию двух изводов цсл. языка: великорусского и «литовского» (форма М. падежа единственного числа существительных мужского и среднего рода мягкой разновидности склонения на -и или на -ѣ, написание ү / ю после р, акцентовка).

#### 4.0. Изменения, внесенные в интерпретацию кодифицированных элементов

##### 4.1. Изменения-сокращения

4.1.1. В Гр1 опущены высказывания на «простой мове» — толкования и предисловия. Помимо информативной избыточности, устранение толкований, представляющих собой дословный перевод на «простой язык» основного текста, было обусловлено факторами собственно лингвистическими. В Московской Руси, где в отличие от Руси Юго-Западной статусом литературного языка обладал только цсл. язык, употребление «простой мовы» вступало в противоречие с представлениями о книжном языке учебного пособия.

Исключение предисловий могло быть также вызвано и неприятием эксплицированной в них лингвистической идеологии Лаврентия Зизания, отражающей влияние филологической программы европейского Гуманизма (Захарьян 1995, 72–75). Прагматический взгляд на цели и назначение грамматики, присущий Лаврентию Зизанию, не соответствовал представлениям московских книжников о грамматике, как средстве постижения Богооткровенной истины. Панегирические высказывания о пользе грамматики как предпосылки богословского ведения мы находим в приписываемых Максиму Греку статьях опубликованных иосифовскими справщиками в московском издании грамматики Мелетия Смотрицкого. Сакральное и теологическое значение приписывает грамматике и старец Герасим Ворбозомский. В «Предисловии о вѣковнициѣ, рѣкше о азбѣцѣ» (конец XVI в.) он пишет о «граматичном учении» как о деле Богоугодном, которым занимаются «мишзи мѣжѣ мѣдѣй і дѣбѣй, во шиғтелехъ и въ чертѣзѣхъ обѣдѣнѧющеся, и въ пѣстѣзѣхъ скитающеся», чтобы постичь Божественные «хощѣнїя» (Ягич 1885–1895, 636–637).

Рассуждения о «грамматичном и риторском и философском учении» как о Божьем а, следовательно, совершенном даре мы встречаем и в трактате «О быкахъ сирѣчъ и словехъ» по рукописи XVII в. (Петровский 1888, 17).

4.1.2. Из текста Г3 исключаются информативно избыточные высказывания, не содержащие принципиально новой содержательно-фактуальной информации. Г3 построена в катехизической, диалогической форме по модели **Название раздела — Вопрос — Ответ**, при этом часто текст вопроса дублирует название соответствующего раздела (например, «О кроткой. Что есть кроткая;» — л. 12). В этих случаях автор Гр1 исключает из текста (1) вопрос при сохранении названия раздела: «О кроткой. Что есть кроткая; Кроткая...»  $\Rightarrow$  «О кроткой. Кроткая...» (л. 14); (2) название раздела при сохранении вопроса: «О речей. Что есть речей;»  $\Rightarrow$  «Что есть речей;» (л. 18 об.).

## 4.2. Изменения-наращения

Наращение высказываний осуществляется автором Гр1 в орфографических разделах грамматики путем введения интерполяций, в которых содержащаяся в Г3 информация либо уточняется (1), либо дополняется традиционным описанием языковых фактов (2).

4.2.1. Лаврентий Зизаний указывает количество книжных писемъ без учета четырех дифтонговъ (ы, ю, я) — 37. В Гр1 введена интерполяция, в которой названо общее число букв в алфавите: «Колико есть писем; й и з»  $\Rightarrow$  "лѣз. кромѣ дифтонговъ, а с дифтонгами, ма" (л. 6).

4.2.2. «Канонъ о облеченній» в Гр1 книжник завершает уточнением «по єльинскіх граммотникахъ» (л. 12). В этом правиле предписывается использовать знак облеченного ударения только над долгими слогами: «над долгими слоги множе мѣсто имѣет облеченніем. Над краткими ж никакож мѣста не иматъ ингдѣже», то есть как в греческом языке. Необходимость введения в текст рассматриваемого уточнения обусловлена тем, что канон, сформулированный Лаврентием Зизанием в соответствии с правилами греческой грамматики, противоречит как реальному употреблению знака каморы («трансплантированного» вместе с остальными надстрочными знаками из греческого языка и семантически избыточного для языка славянского) в текстах, так и предписаниям ряда славянских орфографических руководств.

Облеченное ударение могло ставится не только над долгими (по Г3 — и, ѿ, ѿ, я), но и над краткими (по Г3 — е, о, є) гласными. Такое употребление облеченного ударения кодифицировано, в частности, в статьях «О єже како просодїам достонѣ писати и глати», «Сила съ-

ществъ книжного писанія», «Написаніе газыком словенским о грамотѣ і о єм строеній» (Ягич 1885–1895, 671, 712, 744).

4.2.3. Интерполяции второго типа восходят, по всей видимости, к орфографическим сочинениям Максима Грека или их позднейшим переработкам.

а) Определение слога в Гр1 дополнено рассуждениями об основной функции слога и образующих его гласных и согласных писменъ — составлять слова: «Слогъ есть, синтѣ, гласнаго съ съгласнымъ. Тако, ба, ини овѣдиненіе гласнаго, тако а и о.» ⇒ «Слогъ есть совокупленіе гласнаго писма съ съгласнымъ, тако, пе, і к тѣма еще присовокупи. тръ, і та пять письма совокуплены, составляют ина, петръ. Тако писмена гласнам, совокуплема съ согласными, составляют всако ина і рѣчъ. ини овѣдиненіе гласнаго, тако а і о.» (л. 8 об.–9).

Рассуждения аналогичного характера о последовательном совершении из писмен — складов, а из складов — речений встречаются у Максима Грека в его орфографических статьях, посвященных как славянскому, так и греческому языку. «Вѣдомо да есть, тако гласовна совокуплема согласовными, совершаютъ склады а склады речениа». «Сіа всі [гласные — Е. К.] совокуплема согласовными склады творятъ. склады же наименше два чинатъ речениа, тако же се ба си два склады ба да си совокуплемы сеъ васи будетъ, ёже есть основаніе любо твердость, аще же ёще к симъ приложишъ єдинъ складъ левъ будетъ Василевъ, ёже есть цѣль» (Ягич 1885–1895, 598). Наши предположения о зависимости интерполяции от сочинений Максима Грека подтверждаются лексической заменой в тексте определения слога: в Гр1 вместо слова «синтѣ» использован характерный для М. Грека (см. выше) термин «совокупленіе».

б) После определения краткой в Гр1 введена интерполяция, где краткая и краткая рассматриваются как знаки одного типа — духи: «Нѣцъи любомѣдрцы, кроткю и краткю нарочуют дыхи, первю тако гѣсто і гладко і кротко глас над пислом изѣщати творитъ, над ним же есть та. Вторюже тако тонко вѣщати творит писмо, ѹже под нею съзее, тако мой, твой і прочая» (л. 15).

Определение краткой (пили <sup>2</sup>) и краткой (дасии <sup>3</sup>) могло быть известно книжнику из статьи Максима Грека: «дыхи же суть два <sup>2</sup> и <sup>3</sup> » или ее переработки «Внимай разумно»: «швы же именуются дыхы, тако же сий <sup>2</sup> ». (Ягич 1885–1895, 603, 690)

с) После классификации звуков, предложенной Лаврентием Зизанием, автор Гр1 приводит альтернативную точку зрения на количество долгих и кратких гласных: «Инай же сказуютъ гласных [долгих — Е.К.] и.

и ъ w о8 ты ю ж а, краткихъ ё е о а т 8» (л. 6 об.-7) (в Г3 к долгим гласным относятся и, ъ, w, а, к кратким — ё, о, у, гласные а, т, ж, и являются двовременными, 8, ты, ю, а є дифтонгами).

Такая же классификация долгих и кратких (тонких) гласных содержится в статье «Внимай разъмно», представляющей собой переработку орфографических сочинений Максима Грека: «И долги съть єлицы пишутся и w ъ ю а ты ж 8... Тонкъж склады сът, єлицы пишутся тѣми писмены ё. о. т. а. 8» (Ягич 1885–1895, 692). Те же краткие гласные перечислены и в двух статьях самого Максима Грека (Ягич 1885–1895, 599, 604). Однако количество долгих гласных, выделяемых им, отлично от приведенного в статье «Внимай разъмно» и в Гр1. Списки долгих гласных в двух статьях Максима Грека состоят не из восьми, а из семи звуков, различаясь при этом одним звуком: ю — в первой статье, а — во второй. Однако в целом, по двум спискам, состав долгих гласных совпадает с приведенным в Гр1: «и долги сът, єлицы пишутся и w ъ ю а ты ж 8»; «о8 вас же рѣстѣх долог склад есть иже пишутся и w ъ ю а ж» (Ягич, 1885–1895, 599, 604).

### 4.3. Изменения-замены

Эти изменения осуществляются автором Гр1 в двух направлениях, которые могут быть условно определены как унификация и традиционализм.

4.3.1. К первой группе относятся замены, направленные на унификацию высказываний.

а) Определения и вопросы к ним в Г3 строятся по двум основным моделям: первая включает глагол-связку бѣтн в настоящем времени (Что есть / съть X; X есть / съть ...), вторая — глагол наречется (Что/чесо ради наречется X; X наречется...). Автор Гр1 стремится к устранению подобной вариативности и заменяет формулы вопросов и определений первого типа на формулы с глаголом наречется: «Что есть острая;» ⇒ «Что ради наречется острая;» (л. 9 об.); «Облеченннаа ест... ⇒ Облеченннаа наречется...» (л. 11 об.)

б) Заменяя «вѣщается» на «творит вѣщати» в определении кроткой, автор Гр1 приводит его в соответствие с предшествующими определениями трех типов ударения: острой «понеже творит остро обдарят», облеченной «аже обминиши или доброгласни творит обдарят» (л. 9 об.) и тяжкой «понеже тажко творит обдарят» (л. 10 об.).

4.3.2. Вторую группу составляют замены, при которых книжник изменяет текст Г3, используя традиционные, наиболее распространенные в рукописных грамматических сочинениях, способы представления

языкового материала, прибегая к устойчивым формулам правил и определений.

а) Автор Гр1 изменяет название Г3 «Грамматика славенска съ-  
вершенного искуства осми частий слова и иных изъянъх» ⇒ «Книга  
глемаја грамматика по языку словенскому» (л. 1), используя при этом  
конструкцию «книга глемаја...», широко распространенную в  
восточнославянской книжности. Ср. например, «Книга глемаја промонон,  
сиречъ известное и прежде бывшее», «Книга глемаја щестодневникъ  
Иоанна екарха прилогъ», «Книга глемаја космографіа, сиречъ свѣтла  
описаніе» (Востоков 1842, 235, 244, 279, 297, 395, 454, 637), «Книга  
глемаја бѣконы иже в началѣ ѿ грамматици о просодїи», «Книга  
глемаја простословіе» (Ягич 1885–1895, 730, 918), «Книга глемаја алфа-  
витъ иностранныхъ речей» (Ковтун 1989, 1).

б) В Гр1 изменена форма вопроса о позициях острого ударения:  
«Колиκи есть мѣстъ острѣа;» ⇒ «В колиκих мѣстах полагается  
острѣа;» (л. 9 об.). Книжник использует выражение «острѣа полагается». Эта формула (надстрочный знак + полагается) была одной из самых распространенных при описании особенностей употребления надстрочных знаков в славянских орфографических руководствах. Данная конструкция встречается, в частности, в сочинениях Максима Грека, в статьях «Написаніе языком словенским о грамотѣ і о ел строенїи...», «О јже како просодїи достоитъ писати и глати», «Наказаніе ко  
учителем како имъ овчигти дѣтєн грамотѣ»: «оѣда полагается на трѣхъ  
мѣстахъ... а перинспомени на двоихъ мѣстахъ полагается», «варѣа в кон-  
цахъ рѣченен полагается», «долгам точю в концы рѣчи полагается»,  
«кратко полагается в сихъ рѣчехъ...» (Ягич 1885–1895, 603–604, 671, 744–  
747, 789, 926).

с) Автор Гр1 заменяет правила употребления «точек». В своей грамматике Лаврентий Зизаний формулирует общие правила дедуктивного характера употребления знаков препинания: запятой, сроки, двосрочия, подстолии, соединительной и точки, не сопровождая их соответствующим иллюстративным материалом, как например: «Какъ запятою раздѣляем; ёгда слово творящей, и не съвершеннѣ рѣчъ из-  
рекшай, пишем ю» (л. 14). В рукописной грамматической традиции способ представления знаков препинания был иным — не через правило, а через конкретный текст, чаще всего, текст первого псалма «Блжнъ  
мъжъ», иллюстрирующий их употребление, то есть через своего рода правило оstenсивного характера. Так, на примере первого псалма показано использование «точек» в статьях «О јже како просодїи достоитъ писати и глати», «Анѳима архимандрита... о слаѣ книжней» и «Грамматичество» (Ягич 1885–1895, 747, 787, 995).

Данный способ избирается и автором Гр1: правила Лаврентия Зизания заменяются им двумя иллюстрациями — текстом первого псалма и молитвой, сопровождаемыми кратким комментарием: «Раздѣляется же вслѣкъ стихъ сице, во первѣй рѣчѣ оставляется мало-раздвиженіе и потомъ полагается черта, і по ней запятая і прочамъ, сице. Блжнъ мъжъ / иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, і на путь грешишыхъ не ста і на сѣдалищи гѣбигель не сѣде...» (л. 16–17).

д) В Гр1 заменена глава «О титлахъ» (Г3 — л. 13, Гр1 — лл. 15–16). После второго южнославянского влияния упорядочивается написание слов под титлом — «титло становится знаком сакральности и признаком его» (Успенский 1987, 221). Противопоставление полного и сокращенного (подтитленного) написания становится нормативным для цсл. языка орфографическим принципом (всако стое именованіе писати под покрытием, також всако ини отпадшее писати складом) который специально оговаривается в грамматических сочинения (Ягич 1885–1895, 707, 742, 747, 786, 995).

Если традиционно общепринятым был семантический критерий употребления титла, то для Лаврентия Зизания этот знак является лишь показателем того, что слово, написанное под ним, сокращено: «Титла же тако пишется, свойственно же ей естъ паче същихъ написанийъ писменъ значити» (л. 13). Трактовка титла как знака сокращения реализована в языке и метаязыке Г3, где, с одной стороны, под титлом написаны многие слова несакральной семантики, а с другой, возможно полное, неподтитленное написание «освященных слов».

Автор Гр1 излагает традиционную точку зрения, согласно которой, «титла пишется над бѣственными имены і над бѣгородичными і над стѣмы аггелы і архаггелы, і апѣлы і сѣреномчайки, і над всакими имены стѣмы і блгочестіевыми цркви і кнзен... И прочам чѣтнам под титлою писати. Всм же вѣшеречеиам именованія отпадшихъ і злочестивыхъ писати складом...» (лл. 15–15 об.).

е) Сохраняя в разделе «Стимологія» систему именного словоизменения Г3, автор Гр1 изменяет форму ее представления: в метаязык Г3 вносится ряд изменений, вызванных ориентацией книжника на статью «О именахъ частнѣхъ слова».

Названия падежей в статье, согласуясь с существительным паденіе, употребляются в форме кратких прилагательных среднего рода — право, родно, звательно, дательно, творительно. В Г3 названия падежей, определяя существительное мужского рода падежъ, имеют форму полных прилагательных мужского рода — именовній, родній, дательній, творителній, виннителній / виновній (Лаврентий Зизаний использует два термина), звателній. Автор Гр1 изменяет название именительного падежа и форму названия косвенных падежей по типу терминов, ис-

пользуемых в статье: **право**, **родно**, **дательно**, **творчельно**, **внинтельно**, **звательно**. (л. 19).

Исходя из определения падежного окончания, представленного в осмочастии, где под «**падежем**» понимается последняя буква слова, книжник изменяет форму окончаний, приводимых Лаврентием Зизанием. Окончания прилагательных, относящихся в Г3 к седьмому склонению, -ый, -ий, -ое, -ее заменены в Гр1 на однобуквенные -й и -е: «**Седмоє склоненіе естьъ мужескіхъ именъ кончацихъ ся, на ыи, и на ы и на ѿ, срединихъ. на ое, и на ее.**» (л.35 об.) ⇒ «**з-е на ѿ и на ы на е.**» (л.20). Впрочем, данное изменение может быть обусловлено ориентацией автора на греческий язык, где окончания прилагательных идентичны окончаниям существительных (λογος, λογου — δικαιος, δικαιου). В Гр1 окончания прилагательных, по модели, заданной греческим языком, приводятся в соответствие с окончаниями существительных, которые в именительном падеже состоят из одной буквы.

### Заключение

Анализ изменений, внесенных автором Гр1 в текст Г3, позволил определить характер бытования авторитетной югозападнорусской грамматики в Московской Руси в первой половине XVII в. как адаптацию. В соответствии с традиционными представлениями о грамматике как науке о письме (элементах кода цсл. письма) текст Г3 трансформируется великорусским книжником в орфографическое руководство.

Адаптация текста осуществляется как на уровне кодифицируемой в грамматике системы элементов языка, так и на уровне их интерпретации. Адаптация на уровне системы кодифицированных элементов затрагивает в первую очередь характер и объем описываемого языкового материала. Морфология, являющаяся принципиально новым явлением в восточнославянской филологической культуре, подвергается значительной редукции, преобразуясь по модели «грамматического канона православия» статьи «**О осмидѣ частіяхъ слова**». Иными словами, великорусскими книжниками принимается в целом только наиболее архаический пласт Г3 (Мечковская 1985) — орфография.

Адаптация на уровне интерпретации состоит в изменении формул грамматики по моделям, заданным в авторитетных руководствах и в оптимизации высказываний, которая достигается за счет их унификации и сокращения информативной избыточности.

### Литература

Библер 1991 — Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М.: Изд-во "Прогресс", 1991. 176 с. В надзаг.: На путях к гуманитарному разуму.

- Борковский, Кузнецов 1963 — Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Булич 1893 — Булич С. К. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. СПб., 1893. В надзаг.: Записки ист.-фил. ф-та Императорского СПб. ун-та, ч. 32.
- Востоков 1842 — Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842.
- Горбач 1964 — Horbatsch O. Die vier Ausgaben der kirchen Slavischen Grammatik von M. Smotryckyj. Wiesbaden, 1964.
- Живов 1986 — Живов В. М. Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник.: О книге: D. S. Worth. The Origins of Russian Grammar. Notes on the Russian Philology before the Advent of Printed Grammars (=UCLA Slavic Studies. Vol. 5), Columbus, 1983, 176 p. // Russian Linguistics. 1986. 10. P. 73–113.
- Житецкий 1899 — Житецкий П. И. Очерк литературной истории мало-русского наречия в XVII и XVIII вв. Киев, 1899.
- Захарьян 1995 — Захарьян Д. Б. Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик (XV—сер. XVIII вв.). München, 1995. В надзаг.: Specimina philologiae slavicae, Supplementband 40.
- Карпов 1878 — Карпов А. Азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878.
- Карский 1962 — Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
- Ковтун 1989 — Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв. (Старшая разновидность). Л.: Наука, 1989.
- Колесов 1991 — Колесов В. В. Развитие лингвистических идей у восточных славян эпохи Средневековья // История лингвистических учений. Позднее Средневековье. СПб.: Наука, 1991. С. 208–254.
- Кузнецов 1958 — Кузнецов П. С. У истоков русской грамматической мысли. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Кузьминова 1996 — Кузьминова Е. А. Грамматика Лаврентия Зизания в Московской Руси в первой половине XVII в. (Типы адаптации).: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.
- Лоукотка 1950 — Лоукотка Ч. Развитие письма. М.: Иностранная литература, 1950.
- Мечковская 1984 — Мечковская Н. Б. Ранние восточнославянские грамматики / Под. ред. А. Е. Супруна. Минск.: Изд-во университетское, 1984.

Мечковская 1985 — Мечковская Н. Б. Архаическое и новое в лингвистическом сознании одной эпохи (к характеристике восточнославянских грамматик XVI–XVII вв.). *Slavica Tartuensis*, 1985, № 1, с. 15–24.

Огиенко 1930 — Огієнко І. Українська літературна мова XVII ст. і український Крехівський Апостол. Варшава, 1930. 2 т. В надзаг.: Студії до української граматики. Кн. VII.

Петровский 1888 — Петровский М. П. Старинное рассуждение «Ф въ  
вахъ сирѣчъ ш словеъ» по рукописи библиотеки Казанского уни-  
верситета. СПб., 1888.

Сиромаха 1981 — Сиромаха В. Г. «Книжная справа» и вопросы нормализации книжно-литературного языка Московской Руси во второй половине XVII в. (на материале склонения существительных): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.

Успенский 1971 — Успенский Б. А. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования): Дис. ... докт. филол. наук. М., 1971.

Успенский 1994 — Успенский Б. А. Избранные труды. М.: Гнозис, 1994. 2 т.

Флоровский 1991 — Флоровский, прот. Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.

Фридрих 1979 — Фридрих И. История письма. М.: Наука, 1979.

Харлампович 1914 — Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914.

Шляпкин 1891 — Шляпкин И. А. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651–1709 гг.). СПб., 1891.

Эйнгорн 1894 — Эйнгорн В. Книги Киевской и Львовской печати в Москве в третью четверть XVII в. М., 1894.

Ягич 1885–1895 — Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Ягич И. В. Исследования по русскому языку. — СПб., 1885–1895, т. I, с. 289–1023.

||.

## **Риторика средневекового перевода (Геннадиевская Библия 1499 г. как первый опыт церковнославянского грамматического перевода)**

### **1. Вводные замечания**

Специфичность средневековой теории перевода как составной части философско-эстетических представлений заключается в отсутствии ее систематического изложения как такого: дошедшие рассуждения о переводе (древнейшими из которых в церковнославянской письменности являются Македонский кириллический листок и Пролог Иоанна Экзарха к переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина) представляют собой лишь выводы из соответствующих философских постулатов (не отделимых в свою очередь для средневековой Европы от христианского вероучения), сопровождающиеся в качестве комментария единичными примерами конкретноязыковых переводческих приемов. Фрагментарность изложения провоцирует и избирательность точки зрения в филологических исследованиях, посвященных переводным текстам: оппозиции «буквальный / свободный», «лексический / грамматический», «неконвенциональный / конвенциональный», в рамках которых изначально помещается тот или иной перевод, не универсальны ни по своему объему, ни по функции и не позволяют увидеть феномен средневекового перевода в единстве процесса его порождения и восприятия.

Воссоздание целостности представлений средневековых книжников о сущности перевода и его способах, поставленное целью дальнейшего изложения, возможно только в контексте соответствующей гносеологической теории, составной частью которой является учение о сущности языкового знака (Матхаузерова 1976, Буланин 1995), и практической экспликации теоретических положений прежде всего на материале библейских текстов.

Библейские тексты, будучи образцовым типом общеславянского письменного памятника, являются актуализированной зоной приложения лингвистических взглядов книжников на современное им состояние церковнославянского языка, способы его кодификации и перспективы его развития, его функциональный статус в условиях той или иной языковой ситуации. В круг этих проблем изначально включена теория перевода как методология (по природе теософская в средневековые и линг-

вистическая в эпоху нового времени) обращения с текстами Священного Писания.

Среди последних особое место занимают переводы XV–XVI вв., отличающиеся максимальной ориентацией, особенно с точки зрения грамматических форм и синтаксических конструкций, на уподобление своим авторитетным источникам. «Грамматический» перевод возникает как одно из проявлений одноименного способа обучения и изучения церковнославянского языка, противопоставленного текстологической традиции (Толстой 1963), реализованной в истории бытования церковнославянских библейских текстов в практике конъектурной справы, основанной на сличении предшествующих списков между собой и выявлении наиболее заслуживающей доверия редакции. Отсутствие надежных критериев определения аутентичности источников при их текстологической и лингвистической разноречивости, а до появления Геннадиевского кодекса 1499 г. и неполнота таковых источников для многих ветхозаветных книг способствовали возникновению независимых от традиции новых переводов, сделанных с различных оригиналов, но объединяющихся в стремлении к нормализации церковнославянского языка исходя из грамматических соображений.<sup>1</sup>

Все эти тексты, несмотря на разницу культурно-исторических обстоятельств их появления и несовпадение лингвистических приоритетов, одинаково следуют эпистемологическому принципу: процесс перевода или исправления текста понимается как познание, ergo созидание нормативной грамматики церковнославянского языка по универсальным законам «вероятностной логики», в качестве которой в европейской культурной парадигме еще с античных времен выступает риторика. «Осязаемость» логико-риторического подхода в переводах XV–XVI вв. позволяет провести от них обратную перспективу к ранним так называемым пословным переводам и говорить о риторике (науке и искусстве действия словом, равным образом словом устным и письменным), кото-

<sup>1</sup> Первым опытом такой нормализации в истории литературного языка обычно считается деятельность Максима Грека по исправлению Толковой Псалтыри и Цветной Триоди в 1519–1525 гг., повлекшая за собой резкую реакцию неприятия в Московской Руси, но тем не менее впоследствии нашедшая свое продолжение в работе никоновских справщиков (Живов, Успенский 1986). Однако для истории грамматической мысли не менее значимыми являются более ранние precedents грамматических переводов, изначально возникших на периферии великорусской территории и за ее пределами. К таким, в частности, относится Библия русская, переведенная Франциском Скориной в 1517–1519 гг. с чешского языка и использующая последний в качестве грамматической модели русского языка (Платонова 1992). Едва ли не первым цсл. грамматическим переводом оказывается стоящий у истоков обращения к латинским текстам и латинскому языку у восточных славян текст Геннадиевской Библии 1499 г., переведенный в Новгороде с Вульгаты хорватом Вениамином и воспринимаемый в славистике как русифицированный и далекий от нормы стандартного цсл. языка в силу немалого количества отступлений от нее и просто ошибок.

рая красовы́го й о́удобно гла́гли й писа́ти нао́учаетъ (Риторика 1620 г., цит.: Lachmann 1980, 78) как о необходимой составляющей, наряду с гносеологией и онтологией, средневековой теории перевода.

## 2. Риторика как доминанта средневековой теории перевода

Масштаб действия классического риторического алгоритма, в качестве обязательных этапов движения от идеи к слову включающий *inventio* или изобретение материала, *dispositio* или расположение материала и *elocutio* или словесное выражение, в западноевропейском средневековье универсален и применим практически к любым разновидностям речевой коммуникации, будь то публичная речь, школьное упражнение в сочинении стихов или разбор текста Священного Писания (Аверинцев 1996, 247–248). Развитие средневековой риторики происходит скорее вне ее дисциплинарных границ в составе тривиума: холастическая риторика утрачивает центральное положение в системе свободных наук, но в то же время за счет синтеза с другими областями гуманитарного знания она сохраняет и упрочивает присущий ей с античных времен статус второго наряду с философией центра культуры. Выработанный риторикой системный «подход к обобщению действительности» становится своего рода донором, во многом обеспечившим дальнейшее развитие средневековой грамматики, поэтики, логики, философии, права (Гаспаров 1986, 96).

В восточнославянской культурно-языковой ситуации активное освоение риторической теории приходится на XVII–XVIII вв., когда переводные рукописные риторики появляются в обиходе Юго-Западной Руси, а потом и Московской. Сложившийся к этому времени церковнославянский вариант тривиума представляют переводная риторика 1620 г., «Диалектика» Иоанна Дамаскина и «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, нередко соседствующие в рукописных сборниках. Столь позднее обращение к теории «свободных мудростей» не отменяет ее значимости в практическом варианте усвоения для предшествующего этапа церковнославянской культуры. Основные понятия риторики известны в церковнославянской письменности со времени ее возникновения (Буланина 1985) через посредство корпуса сочинений византийской учености. Риторические знания фиксировались и воспроизводились в текстах в качестве правил практической риторики, норм речевого поведения, составляющих значительную часть содержания сборников типа «Пчелы» и «Измарагда», и в качестве «общих мест» (таких, как этикетные самоуничижительные формулы о невежестве книжника в грамматике, риторике и диалектике или сообщения об освоении святым риторики в составе тривиума, входящие в канон переводных, а позднее и оригинальных русских житий). В ситуации неотделимого от религиозно-философской доктрины существования риторики и поэтики как технических, внешних «хитростей» освоение последних было основано и в то же время ориентировано на творческое подражание готовым образцам, что вовсе не исключает возможности экспликации теоретических

представлений и практических риторических механизмов порождения церковнославянских текстов, действующих в том числе в процессе перевода, который в средневековые всегда есть в некоторой степени (большой или меньшей) и порождение переводящего языка. Речь идет не о доктринальной риторике и эксплицированной теории перевода как приложении к ней, каковым она являлась начиная с XVI в. в западноевропейском варианте, но о едином для риторического типа культуры, к которому принадлежит средневековье, механизме порождения, абсолютно единственном в восточнославянских условиях несмотря на определованность его классического образца цепочкой промежуточных звеньев (Аверинцев 1996, 148) и отсутствие системного изложения теоретических руководств. Для поздних церковнославянских грамматических переводов возможно говорить о сознательном, ученом характере применения правил порождения переводящего языка, поскольку их авторами выступают выходцы из инославянской среды, непосредственно знакомые с европейской риторической и грамматической наукой.

Практическая риторика перевода в средневековье и ее регламентация, как и всякой другой речесозидающей деятельности, общими правилами *изобретения* — расположения — выражения значима в рамках частной оппозиции «риторика / герменевтика», т.е. как наука порождения текста в противоположность науке понимания (Лотман 1995, 92). Механизм порождения в процессе перевода действует не на уровне текста как целого, но на уровне его конкретных языковых единиц, понимаемых средневековыми теоретиками и практиками перевода в качестве знаковых. В риторической проекции происходит последовательная реализация мысли о самом языке: на этапе «изобретения» материала эта мысль отождествляется с определенным кругом единиц какого-либо языкового уровня, затем структурируется путем сообщения этим единицам той или иной диспозиции и, наконец, оформляется в специфических грамматико-синтаксических и лексических образованиях переводящего языка.

Итог подобного «изобретения» языка зависел от степени «риторичности» ситуации (или восприятия ее как риторической), в идеале предполагающей противопоставление по-разному организованных знаковых структур, когда «дискретной и точно обозначенной единице одного текста в другом соответствует некоторое смысловое пятно с размытыми границами и постепенными переходами в область другого смысла» (Лотман 1995, 93). Риторический перевод представляет собой особый, отличный от современного общязыкового или художественного перевода, тип порождения текста и языка, поскольку изначально включает в себя момент сознательной лингвистической рефлексии по поводу возможности (необходимости) соотнесения единиц переводящего и переводного языка и практического способа (способов) представления результатов лингвистической мысли переводчика в тексте. Герменевтический подход к средневековым переводам предполагает поэтому экспликацию и расшифровку, «вторичную вербализацию» мысли переводчика о переводящем и переводном языках, направление

движения и оформление которой подчиняются универсальным риторическим законам изобретения-расположения-выражения.

### 3. Принцип *inventio* — *elocutio* в этимологических переводах

В риторической ситуации средневековья этап *inventio* предполагает не собственно изобретение или нахождение, но лишь «упорядочение» заранее известной, заданной темы. Подчиняющаяся правилам формальной логики процедура атрибутирования мысли, соотнесения ее с данностью топоса, ее категоризации и составляет принцип изобретения по «общим местам». «Используя некоторую селекционную «решетку» данных ("общие места"), ритор осуществляет таким образом отбор элементов, необходимых и достаточных для понимания существа объекта и последующей его вербализации» (Безменова 1991, 28). Парадигма «общих мест» служит отправной точкой всякой идеоречевой деятельности, на какой бы объект она ни была направлена и какой бы характер (художественный или научный) она ни носила, ср. определение «общих мест» в первой церковнославянской риторике 1620 года: «Что єсть илъ какіе суть мѣста ѿбщіе, не токмо суть добродѣтельства и злобы, но и во всакомъ родѣ науки лѣчіе и болшіе главізы, которые єсть ключь, илъ все ѡтество, налѣчышее науки содержитъ. Какимъ ѿбщіемъ познаваються подлинно мѣста ѿбщіе. Егда тѣ науки, в котоныхъ преъвѣаётъ совершенно познаны будуть.» (Lachmann 1980, 122).

Для лингвистической мысли средневековья это означает присутствие общего знаменателя у каждого из сопоставляемых языков или производности любого данного языка от некоторого инварианта, к которому сводимо все наличное разнообразие человеческих языков. Спекулятивным вариантом развития этого общелингвистического топоса, свойственного еще античности, в средневековье могла быть проекция языков во времени, к «адамову» прайзыку (в церковнославянской традиции таковым мог считаться еврейский или сирийский) (Бобрик 1988), не имевшая практических последствий для филологического знания, и проекция в культурноязыковом пространстве, ориентированная в зависимости от конфессиональных предпочтений на один из классических языков как на прообраз онтологического языка и ориентированная на него переводческую и грамматическую мысль средневековых книжников.<sup>2</sup>

Внутрилингвистическая топика имеет непосредственное отношение к переводческой практике средневековья, поскольку дифференци-

<sup>2</sup> Попыткой научно-филологического обоснования этого «наследственного» топоса в истории русского литературного языка стала в XVII веке деятельность Евфимия Чудовского и его учеников, стремившихся к практическому утверждению с помощью пословного перевода родства греческого и цсл. языков (Матхаузерова 1976, 41–44).

ция так называемого пословного и позднейшего грамматического перевода основывается прежде всего на значимом для переводчика наборе «общих мест».

В пословных переводах сущность языка явлена в слове, которое в единстве означаемого и означающего выступает как основная соотносительная единица. *Сила* или *разъмъ*, необходимость блюсти которые со ссылкой на авторитет Псевдо-Дионисия Ареопагита является тоже общим местом в церковнославянской книжности XI–XVII вв. (Ковтун 1975, 16–25), приложимы прежде всего к лексике. Переводческие предпочтения в этом отношении суть лишь частный случай сосредоточения общефилологической проблематики на слове и его лексическом значении как сущности вербального образа, обусловленной скептицизмом по отношению к философско-умозрительному познанию и предпочтением не понятийного, но образно-символического способа передачи информации в византийской и славянской традиции. В соответствии с этим основным способом кодификации языка у славян на протяжении средневековья остается канонический текст, имплицитно кодифицирующий грамматическую и синтаксическую норму, и словарь в различных его вариантах (ономастикон, глоссарий, толковник, приложник и т. д.), фиксирующий не столько словарный состав языка и его лексическую норму как таковую, сколько картину мира в разных его проявлениях, истолковывающий через слово сущность вещей и предметов этого мира, совмещая при этом энциклопедические, лексикологические и в особенности этимологические знания.

Внимание к слову и к его смыслу как основному топосу переносит центр приложения риторических усилий на адекватное выражение этого смысла, т.е. на *elocutio*. Выражение берет на себя функцию изобретения: найти нужное слово при переводе — значит для средневекового книжника найти его именно так, как оно обретает свой смысл в языке оригинала, поскольку требование *блюсти разъмъ* основано не только на представлении об инвариантной сущности (эйдосе) лексических единиц разных языков, но и универсальности оформления (принципа именования или ноэмы) этой сущности в языках (в терминах онтологической теории смысла А. Ф. Лосева этот средневековый постулат может быть выражен как единство эйдетически-ноэматической интерпретации лексики). Это требование не предполагает формального тождества (поморфемного перевода), хотя и допускает его (ср. практику калькирования в библейских переводах Кирилла и Мефодия (Верещагин 1971, 45), имевшую определенное место в средневековых церковнославянских переводах вплоть до XVII в.). Гораздо более существенным оказывается сохранение и воспроизведение этимологических отношений, в число которых включаются и отношения производности переносных значений.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Параллельной этимологическому переводу традицией в средневековые была вариативность синонимов (двухязычных или стилевых дублетов), свойствен-

Суть этимологического или эйдетически-ноэматического перевода как смысловыражающего в противопоставлении чисто смысловому переводу проявляется в сравнении лексических вариантов разных рукописных редакций славянского перевода Евангелия (Камчатнов 1995). Так, Чудовский Новый Завет 1355 г. и Константинопольское Евангелие 1383 г. по-разному переводят греческий глагол *φυσάω* со значением гордости и зазнайства: «*разъмъ оубш надиеваетъ / кичитъ, а любы созидаєтъ*» (1 Кор. 8, 1). Эйдос тщеславия отождествляется в греческом с пыхтением и раздуванием щек (*φυσάω* восходит к и.-е. \**pheu-*, \**phu-* «дуть, пыхтеть»). Вариант *надиеваетъ* в тексте 1355 г. соответствует греческому не только семантически, но и этимологически (цsl. *дмети* родственно рус. *дым*, *дуть*, лат. *fumus*, греч. *θυμός*), тогда как позднейшая замена на *кичитъ* мотивирована лишь семантически (*кичити* — «зазнаваться, задирать чуб» от *кика* « волосы, чуб»).

Этимологический перевод в идеале предполагает поиск в перевоящем языке готовых лексем, осмысленных тем же образом, что и в переводном, т. е. двунаправленный этимологический анализ; использование этимологии не как средства выражения, но порождения в языке новой лексемы за счет производности, свойственной только переводному языку, оправдано лишь в сфере расхождения, несовпадения культурных реалий (Верещагин 1971, 46). В этой ситуации (собственно риторической<sup>4</sup>) этимология из атрибута *eloquio* закономерно становится средством изобретения (*inventio*) нового смысла. Этимологическое изобретение вне ситуации риторического несовпадения лексической семантики влечет за собой появление новых лексем, в лучшем случае становящихся стилистическими атрибутами книжного языка, в худшем — вовсе уходящих из употребления. Именно так, например, обстояло дело с лексемой *футварь*, получившей значение «мир, вселенная» в соответствии с греч. *κοσμός* и этимологически осмысленной аналогично ему (Камчатнов 1995, 104). *Футварь* не смогла ни вытеснить, ни стать общеязыковым синонимом славянского *миръ*, препятствовавшего ее утверждению как единственному возможному варианта даже в переводных текстах. Практическое использование нериторического этимологического изобретения в средневековых переводах весьма распространено: помимо этимологизированных неологизмов, его следствиями выступают и так называемые внеконтекстные переводы многозначных

---

ная практике как славянских, так и западноевропейских переводчиков (Чернышева 1994). Ее истоки связаны с апофатическим богословием Ареопагитик, толкующим сущность как конечно не познаваемую и являющую себя человеку в множественности наименований, каждое из которых есть символ.

<sup>4</sup> Ср.: «Риторический эффект возникает при столкновении знаков, относящихся к разным регистрам и, тем самым, к структурному обновлению чувства границы между замкнутыми в себе мирами знаков» (Лотман 1995, 106).

слов, обыкновенно оцениваемые в качестве атрибутов пословной практики: αρχη — **владычество** (вм. начало); θεραπεία — **цельба** (вм. служение); πνεῦμα — **доухъ** (вм. ветер); πόνος — **болезнь** (вм. труд); δοξάζω — **славити** (вм. мнить, предполагать); ὁξύς — **остръ** (вм. быстрый) (цит.: Thomson 1988, 368–369). «Неверный выбор значения многозначного слова» (Thomson, *ibid.*) представляет собой не что иное, как этимологический перевод с реализованным (**владычество**, **цельба**, **славити**, **доухъ**) или подразумеваемым (**болезнь**, **остръ**) сдвигом значения. В обоих случаях троп как механизм производства переносного значения, узаконенный в переведном языке, становится в переводе риторическим средством (*in praesentia* или *in absentia*) выражения-изобретения.

Этимологические переводы, разумеется, были ограничены в своем практическом приложении в силу как объективных, так и субъективных причин. Однако этимологизм как теоретический принцип и как риторическое средство средневекового перевода в пределе стремится к всеобъемлющему распространению, посягающему на поиски отсутствующей внутренней формы или ее ложного истолкования.<sup>5</sup> Риторическая функция расположения при этом сведена к потенциальной неизбирательности, к нулю, соответствующему неограниченному множеству: момент выбора подлежащих этимологическому осмыслению лексем просто не актуален для переводчика. Именно поэтому этимологические разыскания Константина Костенечского в области греческой лексики носят концептуально-декларативный характер: греческое τάττει, к примеру, толкуется им как по σъблюдени ють, а не по пλέти и выводится из παυτα ττρετην, т.е. по лέзю "въсё съблюдателю юшь" (Ягич 1896, 180). В поисках истинного перевода Константин полностью подменяет его этимологизацией, объектом которой может стать в принципе любая лексема. Эту ситуацию «терминологически» обозначает и вариативность перевода греческого ετυμολογα, которому может соответствовать церковнославянское истиннословѣ или готовословѣ; последний термин, присутствующий в том числе и у Константина Костенечского, несмотря на то, что основан на ложной производности от ετοιμос

<sup>5</sup> Этимология со времен стоиков, определивших через этимон путь познания истинной природы слова, проникновения в сущность вещи, занимала одно из центральных мест в системе знаний о мире и человеке и была в средневековье своего рода методологией не только для гуманитарных дисциплин. Дискредитация научной значимости этимологических разысканий в эпоху позднего средневековья, закрепившая за этимологией устойчивый атрибут «народная» или «вульгарная», совпала по времени со сменой лингвистической и общефилософской теории онтологии, что в итоге обусловило для этимологии роль второстепенной, вспомогательной дисциплины в лингвистике нового времени вплоть до XIX века.

«готовый» вместо *ετύμος* «истинный», вполне адекватно определяет манеру «изготовления» слов средневековыми переводчиками.<sup>6</sup>

В традиции пословных переводов лексические (этимологические) значения слова как первичные оказывались безусловно важнее, нежели грамматические и синтаксические, оформляющие вневременной, изначальный смысл в его человеческом измерении, с позиций конкретных характеристик его бытия и связи с другими смыслами. Подобное отношение к грамматическим значениям как к дополнительным и соединенным явственно присутствует в манере увязывать грамматическую проблематику как сопутствующую обретению вторичных, символических смыслов, *на<sup>4</sup>глани ѿ съмысль* (Ягич 1896, 264). Восходящая к Филону и Оригену традиция аллегорического толкования видит в грамматике текста Священного Писания непосредственную связь с семантикой скрытого смысла и в его контексте требует непременной передачи особенностей оригинала в переводе. Ограниченностъ подобного требования четко осознавалась древнейшими теоретиками перевода: грамматика как средство обозначения скрытого смысла изоморфна лишь до тех пор, пока она не противоречит реальности переводного языка.<sup>7</sup> Вне аллегорического контекста внимание переводчиков сосредоточено лишь на таком грамматическом топосе, как тождество частей слова (речи). Так, с традиционной восьмичленной частицей топикой связано появление уже в Супрасльской рукописи и сочинениях Иоанна Экзарха относительного местоимения *иже* перед именем в соответствии

<sup>6</sup> «Готовословие» у того же Константина Костенечского рассматривается в качестве необходимой составляющей филологической практики, ср. в извлечении из его трактата под названием «Сія словеса въ країцѣ извѣрâни ѿ книгы Константіна філософа»: «Колико члѣстї є книжевствѣ; 5. прѣво. чѣтвѣніе по ѿдѣнію (ката профѣсіа). вѣтвое пропаганіе. трѣтіе. ѧзїк же ѹ теторіа по рѣцї ѿ зданіи (ѹлоссѡн тѣ каї историѡн прохею проподоїс). четвртое. готвословіа бѣрѣтеніе. пятое. на<sup>4</sup>глане ѿ съмысль (аналогиа склозибос). шестое. сѫдо творенію», *иже* поѹше є вѣсъ *х* *иже* въ тѣхнї.» (Ягич 1896, 264).

<sup>7</sup> Часто приводимые в доказательство этого тезиса примеры связаны с грамматической категорией рода. Так, в Прологе Иоанна Экзарха и Македонском листке женский род славянских рѣка в звѣзда в сравнении с мужским греческим (*ποταμός* и *ἀστέρ*) рассматривается как исказжающий аллегорическое значение, связанное с определенным контекстом в Евангелии, где реки и звезды отождествляются с демонами, а звезды — с ангелом, потому в обоих случаях предпочтительнее было бы славянское существительное мужского рода, как и в греческом (Матхазерова 1976, 31). Однако аллегорическим значением возможно пренебречь, смирившись с несоответствием рода ради верности основного, лексического значения, иначе можно потерять всякий смысл, влав в крайний буквализм: «*πρѣложише* мужскому имены, *иакоже лежитъ* грѣчскы, на великоу исказоу *придеть* прѣложеные» (Ягич 1896, с. 35). Ср. также подобные рассуждения о конвенциональности рода в приложении к Святому Духу (жен. рода в еврейском *Ruha*, среднего в греч. *πνευμα*, мужского в лат. *Spiritus*) у Иеронима (История 1985, 206).

с греческим артиклем ḥ, ḥ, τό (ср. также кодификацию различия как эквивалента греческого члена в церковнославянских грамматиках, начиная с трактата «*О семи членах слова*»). В остальном грамматические параллели ранних переводных текстов окказиональны и непоследовательны: они всецело принадлежат сфере выражения и расположения, дистанцированной от собственно изобретения.

#### 4. Принцип *inventio* — *dispositio* в грамматических переводах

Отсутствие эвристической ценности у этапа *inventio*, представляемого собой в классическом изложении Аристотеля «логизирование мифа», провоцировало в конечном итоге кризис риторики познания, задача которой «во многом и заключалась в научении этому логическому развороту и украшению (но не изобретению-рождению) логоса» (Пешков 1996, 384). Практическая риторика сосредоточивалась на выражении как смысле изобретения, пренебрегая выбором и композицией тех топосов, которые подлежали выражению. Иными словами, мотивированность вербализации «общих мест», их синтагматическое развертывание, сообщаемое диспозицией, уступало место их совокупной парадигматической выраженности как основной цели риторической деятельности. Хорошей внериторической иллюстрацией этого положения служит организация средневековой христианской проповеди (Гаспаров 1986, 97-98): риторические приемы используются в ней хаотично, без связи друг с другом, без классификации и композиционного анализа. Убеждение слушателя как сверхриторическая задача текста в данном случае всегда потенциально достижима за счет действенности хотя бы одной из риторических фигур, реально же она ограничена изначальной степенью включенности слушателя в соответствующий христианский миф, степенью мифологичности его сознания.

Вообще риторическая организация всякой разновидности речевой коммуникации в средневековье в наименьшей степени находилась в зависимости от предполагаемого воздействия на получателя сообщения. Правила порождения были замкнуты сами на себя и обращены к говорящему, но не к аудитории, для которой предназначался текст. Риторический текст был обязан своим квазикоммуникативным характером идущей от Августина традиции, приписывающей вербальному знаку не коммуникативную, но коммеморативную функцию: звучащее слово (*verbum vocis*) всего лишь способствует осмыслинию, актуализации знания, изначально заложенного свыше в глубинах человеческой памяти, и превращению его во внутреннее слово, слово ума (*verbum mentis* или *verbum cordis*) (ср. сходное положение о дуализме «духа» и «тела» в слове, излагаемое в церковнославянской «Беседе о учении грамоте» XVI в.: «понéже во ишѣ слово рождаeтъ прѣде в дша иѣкимъ рожденiemъ непостѣкнымъ, и преъзыбаeтъ оу дша нѣвѣдомо. и паки рождаeтъ вторыи в рожденiemъ плотскими, єже ѿстнами изыдетъ и глаомъ в слышаний объявляетъ, и тао

въявѣтъ вѣдимое благоѣланіе во всѣхъ брѣдахъ дѣйствиелъ на землѣ, оѹспѣха рѣди дѣёвнаго по глаголанію изо оѹстѣ изшѣдшаго словеси» (Ягич 1896, 388). Умственная память представляет собой совокупность всех возможных для человека истин и понятий, хотя и необязательно они актуально мыслятся. Потому познание всегда есть не создание чего-то нового, но открытие и актуализация потенциального знания в процессе припомнания. Процесс коммуникации выглядит следующим образом: от внутреннего слова говорящего к его внешнему слову, от него к ушам слушающего, от них — к его душе, где возбуждается его внутреннее слово. При этом передачи мысли не происходит: души собеседников замкнуты в себе, хотя под воздействием слов в душе слушателя возбуждаются мысли, близкие к мыслям говорящего.

Разрешение кризиса «изобретения по общим местам» в лингвистике происходит одновременно с перенесением центра приложения философской и культурной мысли позднего средневековья и нового времени с онтологической, бытийной проблематики существования к гносеологической, акциональной проблематике, сконцентрированной на динамике становления и развития. В самом общем контексте филологического знания это означает пересмотр традиционных представлений о параллельном, не пересекающемся существовании литературных и нелитературных, книжных и живых языков, изменение их *status quo* и их «самоопределение» в грамматике. Слово как инвариант знаковой единицы языка уступает место грамматическому значению как подлинному предмету науки о языке. Знание языка в это время отождествляется с владением грамматикой, которая становится основной сферой приложения риторических правил при переводе: «Аще кто не довѣнѣй совершеникъ наѹчїлѧсь будетъ, тѣ же грамматикъ и пинтикъ и риторикъ самыи философии, не можетъ прѣмъ и совершено ни же разумѣти писчема, ни же преложити ж на іхъ языкъ» (Максим Грек, цит.: Ягич, 1896, 301).

Своим доминирующим положением в лингвистическом знании и развитием концепции универсальной грамматики последняя обязана учению модистов, объявивших знание грамматики одного языка само-достаточным для понимания грамматического устройства любого другого: *"tota grammatica, quae est in uno idiomate, similis est illi quae est in altero ... unde sciens grammaticam in uno idiomate scit eam in alio, quantum ad omnia, quae sunt essentialia grammaticae"* (Бозий Дакийский, цит.: Перельмутер 1991, 14). Постулируя единство грамматики как следствие общности логических категорий, теория универсальной грамматики в своем средневековом варианте опирается не на языковой узус, но на дедуктивные выводы, и потому оставляет открытым вопрос о составе языковых констант (*principia essentialia*). Варианты практического решения этого вопроса и составляют сущность «изобретения» языка в так называемых грамматических переводах. Выбор (*dispositio*) тех «общих мест», которые, с точки зрения переводчика, заслуживают быть осмысленными и иметь регулярную реализацию в языке, весьма индивидуа-

лен и произволен с точки зрения церковнославянского узуза. Он и обуславливает искусственность подобной грамматической нормализации как «одного из частных следствий нового взгляда ученых авторов на книжный язык как на свою собственность» (Живов 1996, 47). Понятно, что этот выбор изначально определен грамматической парадигмой переводного языка как классического или сравнявшегося с ним в рамках европейской модели решения вопроса *dignitates verborum*.

Ситуация, когда иноязычной грамматической традиции противостоит ее отсутствие (в узком смысле) в церковнославянском варианте, а грамматической системе переводящего языка, элементы которой приобретают для переводчика ту или иную системную упорядоченность в процессе освоения им этого языка как неродного, отвечает внесистемная совокупность грамматических форм в том виде, в котором она известна переводчику исходя из узуза церковнославянских текстов, представляет собой классический случай «риторикогенной» ситуации (Лотман 1995, 95).

Грамматические переводы текстов Священного Писания выступают как нормосозидающие, поскольку содержат в себе варианты креативной грамматики, так или иначе, но всегда индивидуально соотнесенной с грамматикой переводного языка. В особенностях этого соотнесения и проявляется момент *хитростиаго изобретений*, необходимость которого вытекает из свойственного книжникам восприятия церковнославянского как равного классическим сакральным языкам по своим возможностям, данным ему Творцом, и в то же время уступающего греческому или латыни с точки зрения реализации этого потенциала человеком, его земного «устройения»: «Греческы бѣ ѹазыкъ ово ѿбо ѿ бога искпера художенъ и пространъ быст, ово же и ѿ различныхъ по временехъ любомоудрець оухъщенъ быст; нашъ ж(е) словенскы ѹазыкъ ѿ бога добрѣ сътворенъ быст, понеже вся елика створи вогъ зѣвш добра, и въ оулишениемъ любоученїѧ любочьстивыхъ слова моужен хъитрости такоже шнъ не оудостон сѧ» (предисловие сербского инока Исаии к его переводу корпуса сочинений Дионисия Ареопагита, датированному 1371 г., цит.: Стојановић 1905, 42).

Грамматический подход придает совершенно иную ценность тропу: из средства *выражения* он превращается в средство *изобретения*. Пиетет по отношению к естественному тропу, созданному языком и реализованному в омонимии грамматических форм или совмещении разных значений в одной лексеме, свойственен лингвистическому сознанию, ориентированному на «объективную» фиксацию фактов. Его сверхзадачей является сохранение метафор языка в метаязыке, всегда имплицитно присутствующем в языке перевода и чаще эксплицитно — в грамматиках. Такого рода тропы *lingua natı* присутствуют в переводах переносного значения через прямое и наоборот, и в этом смысле идентичны цитированные выше внеконтекстные церковнославянские переводы греческой лексики и практика средневековых латинских грамматик

(требовавших от учеников заучивания всех возможных грамматических форм, стоящих за какой-либо флексией), зафиксированная в переводе Доната Дмитрия Герасимова и примененная им (к примеру, лат. форма императива *amage*, омонимичная инфинитиву, передана им как *любити* (Ягич 1896, 569); через перечисление омонимов даны и церковнославянские падежные флексии).

В новой ситуации узуально-языковой троп, являющийся тропом лишь генетически, уже не представляет гносеологической ценности (именно поэтому внимание «риторических» книжников сосредотачивается на проблеме избавления языка от омонимии). На смену тропу, ранее существовавшему как узаконенное в переведном языке средство выражения и воспроизведому с изначальной установкой на такую же легитимность в языке переводящем, теперь приходит оказиональный, индивидуальный троп, который уже не служит «орнаментализацией некоего инвариантного содержания, а является механизмом построения некоего, в пределах одного языка не конструируемого, содержания» (Лотман 1995, 99–100). Привнесенное со стороны переведенного языка грамматическое содержание, не свойственное переводящему, выражается средствами, в исходной системе несущими иногда совершенно иную грамматическую информацию<sup>8</sup>. Разумеется, подобные межъязыковые тропы не прочитываются вне контекста или прочитываются неправильно; традиционное, нериторическое филологическое сознание (в качестве которого равно может выступать как синхронное грамматическим переводам восприятие книжников Московской Руси, так и диахронное современное) видит в них по преимуществу «отклонения от нормы», несмотря на то, что последнее понятие не актуально для риторической грамматики.

## 5. Риторический статус перевода Геннадиевской Библии

Текст Геннадиевской Библии 1499 г. (ГБ), в состав которой вошли отсутствовавшие ранее у восточных славян ветхозаветные книги в переводе с Вульгаты, уникален одновременно в конфессиональном и лингвистическом отношении. Перевод доминиканца Вениамина, хорвата по национальности, в славистике заслужил весьма скромную оценку, мотивированную лингвистической некомпетентностью переводчика как

<sup>8</sup> Для Максима Грека при исправлении форм 2 лица аориста и имперфекта на л-формы со связкой значимым оказывается идущее из греческого языка противопоставление по категории лица, а не времени, как для его оппонентов (Живов, Успенский 1986); семантика чешских литературных и диалектных форм стала причиной «ненормативных» образований в языке перевода Скорины (Платонова 1992) и т. д.

<sup>9</sup> К ним принадлежали книги Товит (Т), Юдифь (Ю), Неемии, 1-2 книги Паралипоменон, 1-4 книги Ездры (далее 4 книга — Е), 1-2 Маккавейские книги, книги Премудрости Соломона, частично Эсфири, книги Иеремии и Иезекииля.

в латыни, так и в церковнославянском и русском языках (Горский, Невоструев 1855). Тезис о незнании языков, впрочем, никак не согласуется с приписываемым Вениамина авторством первоначального латинского варианта «Събрания от божественного писания от Ветхого и Нового на лихомцев» («Слова кратка») (Седельников 1926) и фактом его выбора в качестве основного переводчика Вульгаты среди новгородских книжников при дворе архиепископа Геннадия.

Такая интерпретация текста ГБ обусловлена исключительно его соизмерением с абстрактным эталоном «правильного и тривиального», не-риторического текста. Воссозданный риторический механизм порождения перевода дает возможность осмысливать своеобразие ГБ как логическое следствие совмещения в пространстве одного текста разных принципов *inventio*, приложенных к разным языковым уровням: коды переводчика, действующие на уровне лексических единиц, дают вполне объяснимые и предсказуемые результаты, соотносимые с традиционными средневековыми переводами, тогда как аналогическая модель церковнославянской грамматики у Вениамина организована в соответствии с правилами и акцентами риторики познания, свойственной новому времени.

Лексическое своеобразие ГБ определяется действием универсального этимологического принципа в его славяно-латинской реализации и связанного с ним вариативного, синонимического перевода. Однаковая производность славянских и латинских лексем как критерий смысловой точности перевода часто влечет за собой неадекватное филологическое толкование словника ГБ, который представляется состоящим из хорватизмов, окказионализмов и асемантических калек (Горский, Невоструев 1855; Freidhof 1972; 1984). Механизм этимологического перевода как принадлежности средневекового филологического сознания в ГБ отчетливо проявляется в контрасте с его полным отсутствием у острожских редакторов (конъектуры текста 1581 г. даны ниже в квадратных скобках). К случаям такого классического «орнаментального» перевода в тексте относятся, к примеру, следующие:

### **съвлечеñїа — spolia**

Первичное значение лат. *spolium* — «снятая шкура» (ср. то же для греч. *σπολας*), от *spolio* «снимать одежду, раздевать». Требуемое в контексте Ю 15,13 *събрана суть съвлечеñїа асириймъ ѿ людїн йїльевъ* значение «военная добыча» (преимущественно в рl.) в латыни, таким образом, выражено через отождествление со снятием или раздеванием. Съвлечеñїа от влѣчи (ср. греч. *ελκω*, лит. *velku* — “тащ”, лит. *arvalkas* «одежда») в отношении производности полностью совпадает со своим латинским оригиналом, в отличие от варианта Острожской Библии *ко-ристи*, семантически верного, но этимологически никак не связанного с осмыслиением через процесс снимания.

### **прѣатель — amicus; дрѹгъ, дрѹжба — socius, comes, agmen**

Лат. *amicus* в церковнославянском тексте переводится как *прѣтель* (Т 8,22 *Уготовати ѿтсвѣ...вѣ* " же *прѣтель*" — *сипетисque amicis*; Ю 8,22 *вѣйн прѣтель сътворенъ* є — *Deo amicus* и т. д.), что вне контекста этимологического перевода можно оценивать как хорватское лексическое влияние (Freidhof 1972, 146). Между тем этимологически лат. и церковнославянская лексемы абсолютно эквивалентны: *amicus* производно от ато «любить» точно так же, как *прѣтель* от *прѣти* «относиться благожелательно, любить», ср. гот. *frijon* «любить», др.-инд. *ṛig्यास* «дорогой, достойный» (Фасмер III, 1987, Срезневский II, 2, 1989). Цсл. *дрѹгъ* (изначально « тот, кто рядом (идет), близкий», ср. *дрѹжина* «спутники», словац. *družiť* sa «присоединяться», лит. *sudrugi* «присоединяться», *draugas* «спутник, товарищ, близкий» (Фасмер I, 1986, 543, Срезневский I, 1, 1989) может отвечать лат. *socius* (производное от *sequor* «идти вслед, следовать» или *comes* (из *com* и *eo*): Ю 6,6 *тѣ*" людѣ" съдрѹжинѣ (*sociaberis*) Т 5,21 *вѹде*" ѿ на путь виша" и аггл. его съдрѹжитса *емъ* (*comitetur*). Этимологическое осмысление цсл. *дрѹгъ* и его производных через «совместность» обусловило и появление соответствия *дрѹжба* — *агтол* «движущаяся толпа, отряд; напор, поток»: Ю 15,4 *единюю дрѹжбою* (*што агтоле*) погоняли *шбѣсниша вѣхъ* [единомысленно].

#### одолѣніе — *victoria*

Латинское *vincere* и слав. *побеждать* этимологически противопоставлены: первое восходит к индогерм. \*ueig- «энергичное, чаще враждебное проявление силы» (Walde II, 1938), второе по происхождению связано с беда и антонимически осмысливает последнее значение (Фасмер I, 1986). Славянская этимология для переводчика оказалась весьма ощутимой и позволила поставить глагол *побѣдити* лишь в соответствие лат. *посeo* "вредить, причинять вред, мешать, препятствовать" (Ю 11,1 *азъ никогда побѣдилъ* (*посеi*) *можи* [*побиխъ*]; Ю 16,7 *ѓь же всемогущий побѣдилъ* (*посеi*) *его* [*запа*] ), тогда как цсл. *одолѣти* (значение «превозмочь» из «получить свою долю, выиграть» (Фасмер III, 1987, 123) по производности вполне сопоставимо с *vincere* и *victoria*: Ю 16,24 *радость сего шдоленія*; Ю 15,8 *сий бо ихъ шдолѣвшій*; Ю 13,20 *рѣючи въ шдоленій свое*"; Ю 16,22 *весь полкъ по шдоленій приидетъ въ ѡерлии*; Ю 6,13 *егда шдолѣтъ си въ йїлевъ*.

#### сложитисѧ — *coniuge*, сложеніе — *coniugio*

Т 11,3 *вѣспѣ съ сложинцею* (*coniuge*) *твою и съ животиими* [со женою]; Т 7,16 *сътворишъ по писаню* *сложеніе* (*coniugii*) [писанѣе съвѣспленіа]; Т 6,17 *сложеніе* (*coniugium*) *тако въспрѣмлю*" [ожидаются];

Т 8,4 в *наш<sup>е</sup>* бъде<sup>т</sup> сложен<sup>и</sup> (coniugio) [да съвок<sup>з</sup>пимса]; Т 7,15 тъ да сложн<sup>т</sup> (coniungat) вѣ [да съвок<sup>з</sup>питъ]. Лат. iugo имеет значение «связывать, соединять» (abiugo «отделять, разъединять»; iugum «ярмо, парная запряжка, пара, чета, супруги»; iungo — то же, что и iugo, а также в пассиве «быть смежным, граничить, сочетать браком, сблизиться, породниться») (Дворецкий 1996). Восходит к индогерм. \*ieu-g «соединять» (Walde I, 1938, 730), ср. греч. ζευγνυμι, ζευγος, от последнего цсл. съпрѣгъ. Цсл. калька, ставшая узуальной, основана на вторичном, конкретном осмыслении абстрактного значения соединения через за- или сопряжение и не охватывает, в силу этого, всей парадигмы производных (ср., например, рус. сочетать браком). Последовательно употребляемый в переводе Вениамина вариант сложитнса, представляющий соединение как соположение, положение рядом (ср. лат. iuxta (ponere) «рядом, подле, близ»), позволяет передать не только матrimониальные, но и все остальные значения coniugo: Ю 16,26 вѣ пакы смычи чистотъ сложена (adioneta) [дана бысть]; Т 8,4 бѣ сложитнсъ (iungitnse) [присвоимса]; Т 7,14 да и та сложила бы сѧ (coniungeretar) племени своемъ [присовок<sup>з</sup>пите].

полкъ — *populus*, народъ — *turba*

Цсл. полкъ встречается у Вениамина в значении *populus* едва ли не чаще, чем людѣ. Сходство с с.-хорв. пук «народ, люд», на первый взгляд, свидетельствует о лексической хорватской интерференции (Freidhof 1972). Однако присутствие той же семантики у ст.-сл. полкъ (Срезневский II, 2, 1989) и его индоевропейские корни обнаруживают зависимость перевода Вениамина от общей этимологии слав. полк и лат. *populus*, происходящих из и.-е. \*pel- «наполнять, умножать, множество» (Walde II, 1952, 339, Pokorný I, 1959, 798), ср. родственные греч. πλῆθος, лат. *plenus*, рус. полный. Цсл. народъ из-за своей собственной производности находится у Вениамина в отношениях дополнительного распределения с полкъ как неэтимологический эквивалент лат. *turba* «скопище, толпа, масса»: Е 16,69 вѣзгаєтса жаръ на вѣ народн мнози (*turbae copiosae*); Т 1,17 вѣ мнозѣ народѣ (*turba*) рода своего.

Этимологический перевод естественным образом находит свое продолжение в практике синонимического варьирования, возникающей в случаях невозможности (объективной или субъективной) тождественного осмысления эйдоса слова в переведном и переводящем языках. Эти случаи, с одной стороны, суть проявления неисчерпаемости онтологического смысла, всегда лишь частично являющего себя в слове и требующего множественности наименований, с другой — свидетельство относительности понятия лексической нормы для цсл. книжников. Так, при переводе производного от того же iugo глагола *subiugo* «покорять, подчинять, порабощать», не позволяющего найти этимологический

эквивалент в цсл., Вениамин прибегает к вариативному синонимическому ряду: Ю 2,6 покориши — *subiugabis*; Ю 1,1 понизиша — *subiugaverat*; Ю 2,3 да повинни<sup>т</sup> — *at subiugaret*; Ю 3,13 повинутися — *subiugari*; Ю 5,10 покоримъ — *subiugasset*. Ср. также Т 11, 14 пожда — *sustinens* и Т 5, 9 потрѣпн — *sustine* (*sustineo* от *teneo* «держать»); Т 14,5 расточени съ<sup>т</sup> — *dispersi sunt*; Т 13,4 расторгъл — *dispersit* (*dispergo* от *spargo* «рассыпать, рассеивать, распространять», родственно рус. прах и пороша).

Этимологизм как принцип выражения лексических значений не абсолютен в переводческой технике Вениамина: часто его применение ограничивается лишь формальным разложением латинских лексем «по составу» и их поморфемным воспроизведением. В результате появляются с трудом допускающие необходимое толкование или вовсе противоречащие ему переводы типа Ю 14,13 съмнѧшеся (*suspiciabatur*) во того съ юдитю спати, Ю 4,8 И възва вѣ полкъ къ Гѣ настоаніе (*instantia*) велико, Ю 2,7 почиггалъ можи въ исправленіе (*in expeditionem*). Формализованный и несколько эпигонский характер использования этимологических соответствий как словообразовательных проявляется у Вениамина в неумеренном пристрастии к передаче латинских приставочных образований: Е 8,22 съшвратитса — *convertitur*; Е 15,31 съвездыжающи — *conspicentes*; Е 4,21 въшибитаю<sup>т</sup> — *inhabitant*; Ю 14,15 сътвори съ стыденіе<sup>т</sup> въ домъ цѣвѣ — *confusionem*; Е 5,10 Умножитса въ правду и въ съдержаніе — *injustitia et incontinentia*; Е 5,6 съпреселеніе — *conmigrationem*; Т 9,2 не въдъ съдостониъ прѣ видѣши<sup>т</sup> «твои» — *non ego condignus providentiae tue*.

Вообще представление о своеобразии лексики ГБ несколько увеличено в связи с неосвоенностью в цсл. языке лексем с латинской производностью в отличие от греческой: например, вариант Вениамина в Т 8,24 по премѣненію (*post obitum*) ничем не хуже своего грецизированного эквивалента в Т 14,14 по преставленїи (от *metathesis*). Вполне «прозрачная» этимологическая мотивировка присутствует и в неологизмах типа Ю 8,8 еѣ сїа въ всѣ<sup>т</sup> гласованіям (*Famosissima*) [славна]; Т 8,18 заперлъ еси (*exclusisti*) ѿ нась врага [Гтиналъ еси]; Ю 11,11 пакъ то нарѣжаю<sup>т</sup> (*ordinant*) да Убий<sup>т</sup> скотъ свою и пить кровь и<sup>х</sup> [совѣтуютъ]. Лексическая правка Острожской Библии основана на совершенно иных началах: ее конъектуры исходят из понимания выражения-изобретения как поиска «нужного», подходящего в контексте слова из относительно определенного цсл. словарника.

Противоречия и ошибки в цсл. переводе латинских грамматических форм в контексте риторического «изобретения» языка утрачивают свой статус ошибок *ad absurdum* и обретают веские основания в грамматической системе *volgare*, поскольку список «общих мест» грамматики соотносится переводчиком не с латынью Вульгаты, но с *lingua romana* в диалектном варианте, известном Вениамины.<sup>10</sup> Упоминание о фряжском языке в приписке к Погодинской рукописи № 84, содержащей текст всех переведенных Вениамином книг<sup>11</sup>, подтверждает его владение одним из романских диалектов (скорее всего, распространенным на территории Рагузы-Дубровника и Далматинского побережья, предполагаемой родины Вениамина). Выбор *volgare* в качестве образца мотивирован для переводчика с точки зрения его нового статуса в рамках европейского *Questione della lingua*: противопоставленный латыни в XIII–XIV вв. по принципу “*scribere (dicere) vulgariter et litteraliter*”, *volgare* к XVI в. имеет достаточные основания сравниться с нею по своему достоинству и превратиться в *lingua italiana*, обладающий всеми атрибутами национального литературного языка (Picchio 1984). Модель цсл. грамматики в масштабе *volgare* представляет существенно иную, в сравнении с узуальной, парадигму именных и глагольных форм.<sup>12</sup>

Романская падежная парадигма претерпела значительное сокращение числа своих мест (до одного в итальянском и иберороманских, двух в галло-романских и трех в балкано-романских языках), которому предшествовала унификация вариантов падежных окончаний и аналогическое уравнивание флексий разных типов склонений (Алисова 1987, 203–207). Им. падеж, обнаруживающий в переводе Вениамина явную тенденцию стать падежным инвариантом, является аналогом нового номинатива *volgare*, замещающего собой в ед. числе старый аккузатив и аблатив, а во мн. числе — формы аккузатива, датива и аблатива.

<sup>10</sup> Вопрос о непосредственном воплощении образца для модели цсл. грамматики Вениамина остается открытым, поскольку в его качестве мог выступать как «гибридный» латинский язык оригинала, воспринимаемый как реализация «простого» языка, так и лингвистическая компетенция Вениамина, усвоенные им отношения новых романских языков, претендующих на роль литературных, с латынью.

<sup>11</sup> Эта приписка сообщает о переводе Маккавейских книг «ш неко(его) моужа чтина<sup>†</sup> пре<sup>‡</sup>вигтера паче<sup>\*</sup> мниха святейшии старого доминика ймене<sup>§</sup> веняимина родо<sup>¶</sup> словенска известне ведоуциа латинъскыи языка и грамматикоу вѣдоуца<sup>\*\*</sup> ѿчасти ѹ греческаго языка ии фрм<sup>\*\*\*</sup>ска » (ГПБ, собр. Погодина 84, л. 360 об., цит.: Горский, Невоструев 1855, 128).

<sup>12</sup> Подробнее о грамматическом переводе ГБ см.: Платонова И. В. О переводческой технике в Геннадиевской Библии 1499 г. // Славяноведение. № 2. 1997.

Латинская парадигма мн. числа содержит омонимичные формы Nom.-Acc. pl. имен всех родов III-IV скл. и II скл. среднего рода (Nom.=Acc. на -es, -us, -a или -ia), в живом языке не различавшиеся и ставшие образцом для обобщения этих падежей у существительных старого II скл. (Nom. pl. *Iupi*, Acc. pl. *Iupos* → Nom.=Acc. pl. *Iupi* или *Iupos*). Как следствие совпадения этих форм в *volgare* цсл. им. падеж появляется у Вениамина на месте винительного и может соответствовать как общим для латыни и *volgare* омонимичным формам на -es, -a или -ia (1), так и старым формам аккузатива на -os (2), в вульгарной проекции воспринимавшимся переводчиком как новый номинатив:

1) Ю 8,20 смирит вси лзыщи (*omnes gentes*); Ю 2,14 съкрушиль вси гради въшній (*omnes civitates*); Т 3,13 грѣси (*peccata*) ѿпустиши; Ю 16,15 заперль потоци (*torrentes*); Ю 9,5 твои съдѣи ... поставиши еси (*tua iudicia*); Ю 4,3 шбаша вси верси гора<sup>х</sup> (*omnes vertices*);

2) Ю 7,10 поставилъ по шкртъ сотници (*contonatios*); Ю 3,1 послалъ легати свои (*legatos suos*); Ю 16,14 како штроци (*punctorum*) вѣка-ци заклаша ихъ; Е 3,30 съдержалъ еси врази твои (*inimicos tuos*); Т 9,11 взрите сѣты ваши и сїве сївъ ваши<sup>х</sup> (*filios vestros et filios filiorum vestrorum*); Е 2,8 съкрыши беззаконици (*imiquos*); Е 2,32 швони роженъи твои (*natos tuos*).

Перевод Вениамина отразил и еще одну возможность оформления Nom. pl. в романских диалектах — с флексией -is (Бурсье 1952, 193-194). Существование в живом языке таких форм позволило Вениамину перевести им. падежом Dat.-Abl. pl. вместо дат. или твор. в следующих случаях: Т 8,12 слѹчися емъ иже и прочи ии сѣмь мѹжіи (*ceteris illis septem viris*); Е 1,5 да възвѣстять сїве (*filiis*) сївш<sup>и</sup>; М 1 12,24 не хотѣхомъ оубо ва<sup>х</sup> докчнъ бъгти ии прочи дрѹзи и прѣтели наши (*ceteris sociis et amicis nostris*); Ю 5,22 истребленн<sup>и</sup> сѹ полченія (*proclisis*); Т 2,23 сѣ и ины такы слова ( *his et aliis huiusmodi verbis* ) понюшаše емоу; Т 14,14 с женою своею и сїве (*filiis*) и сїве (*filiis*) сїво<sup>и</sup>.

В единственном числе парадигма *volgare*, на которую ориентировался Вениамин, представлена тремя формами: генитивно-дативной, аккузативно-аблативной и номинативной, причем две последние часто уже не различаются между собой. Эквивалентность дат. и род. падежей составляет весьма примечательную особенность в тексте ГБ, поскольку она, в отличие от цсл. текстов южнославянского происхождения, не ограничивается только случаями посессивного употребления (Ю 13,6 дѣло рѣкамъ моямъ — *opera matiis mea*); Т 3,3 беззаконіа моя или

родъ моемъ — *delicta mea vel parentum meorum*; Е 5,25 ѿ всѣхъ съзиданий градовъ — *ex omnibus aedificatis civitatibus*; Е 16,18 начало болѣнія<sup>и</sup> и мнозѣхъ стенахъ — *initium dolorum et multi gemitus*), но присутствует и в остальныхъ случаяхъ (Ю 11,15 тако швцы иуже нѣ пастырь — *sicut oves quibus non est pastor*; Е 3,10 тако Адамъ умрети тако тѣхъ потопъ — *sicut Adae mors sic et his diluvium*; Е 4,6 кто рожены<sup>и</sup> — *quis natus*; Е 8,62 не всѣ<sup>и</sup> показахъ токмо тебѣ и тебѣ таковы<sup>и</sup> малы<sup>и</sup> — *non omnibus demonstravi nisi tibi et tibi similibus paucis*; Ю 5,1 гора<sup>и</sup> пѣтіе запрошл — *montium itinera concluissent*; Ю 3,9 всѣ<sup>и</sup> градо<sup>и</sup> швтающи началици — *universarum urbium habitatores principes*) и обусловливает появление дат. падежа в качестве прямого дополнения вместо ожидаемого вин.=род.: Е 1,30 тако вѣ<sup>и</sup> събрали — *ita vos collegi*; Е 6,50 прѣти еи — *erupte ea*; Е 1,36 пророко<sup>и</sup> не видѣша — *prophetas non viderunt*; Е 1,21 ханаке<sup>и</sup> и ферезен и филистимъ ѿ лица вашего ѿметалъ — *Chaneos et Ferzeos et Philistheos a facie vestra proiecisti*; Е 4,18 которы<sup>и</sup> начишишь шправдати или которы<sup>и</sup> съдити — *quem iniurias iustificare aut quem condemnare*; Ю 10,6 шерѣтоша ждѹще шзїа и презвитеро<sup>и</sup> грѣскы<sup>и</sup> — *invenient expectantem Oxiam et presbyteros civitatis*. Среди романскихъ диалектовъ только балканские (фрако-дакийский и далматинский) сохранили третий падеж, объединивший функции датива и генитива (Сергиевский 1954). Скорее всего, именно эта диалектная разновидность вольгаре была известна Вениамины.

Новый романский *casus obliquus* совместил в себе старый Abl. (-а, -о, -е, -и) и Acc. (-ам, -им, -ем), совпавшие вследствие утраты конечного -t в ед. числе имен всехъ склонений. Ситуация незначимого выбора между формами вин. и твор. (мест.) падежей как следствие возникает в цсл. тексте в беспредложныхъ прилагательныхъ позициях (Е 7,134 тако терпеніе<sup>и</sup> подає<sup>т</sup> — *longamitatem*; Е 4,15 помыслиша по-мышленіемъ — *cogitationem*; Е 15,6 прескверниль безаконіе<sup>и</sup> всю землю — *iniquitas*; Е 15,49 въшли тебѣ лѣкавамъ вдовѣство<sup>и</sup> ... и гладо<sup>и</sup> и мече<sup>и</sup> и губительство<sup>и</sup> — *vidotatem ... et fænum et gladium et pestem*; Т 8,9 не блгство<sup>и</sup> про...но единъ послѣднюю любовь — *sola posteritatis dilectione*; Т 13,13 свѣт<sup>и</sup> пресвѣтлый просвѣтиши — *lues*) и после предлога *in*, допускавшего после себя, в отличие от большинства предлоговъ, оба падежа, различавшихся в классической латыни по значению места (Abl.) и направления (Acc.) Т 14,12 погребете...въ единъ гробъ (*in uno sepulchro*); Е 7,7 въ пропасть поставленъ (*in precipiti*); Т 14,16 въ

благъ живо<sup>т</sup> и въ стѣмъ житїи пребылъ (*in bona vita et sancta conversatione*); Е 5,15 поставилъ мя на нога<sup>х</sup> (*super pedes*).

Косвенный падеж, в свою очередь, послужил образцом обобщенных романских форм Nom.=Acc.=Abl. в ед. числе, способствовавших распространению в цсл. переводе им. падежа на месте творительного: Е 7,139 шинценн сг<sup>т</sup> слово є<sup>т</sup> (*verbō*); Ю 4,8 И възва вѣ полкъ къ гѹ настоеніе велико (*instantia magna*); Т 12,13 да искушеніе (*temptatio*) искошн<sup>т</sup> та; Ю 8,27 миаши...са та мъченія менши быти бичъ гнь (*flagella*); Т 6, 22 любовь (*amore*) сбовш "нанпаче неже блъство" веденъ.

Таким образом, цсл. парадигма у Вениамина включает один падеж вместо род. и дат., флексии которых становятся равнозначными вариантами; формы именительного могут выступать в качестве допустимых вариантов практически всех остальных падежей. Утрата именных форм словоизменения поддерживается в переводе ГБ и распространением унифицированной флексии причастия (-ши или -ше) на адъективные формы косвенных падежей: Ю 16,20 горе азыкъ въстующи (*insurgentis*) на родъ мон; Ю 9,17 Услышни мя вѣднюю молащъся (*deprecantem*) и ѿ тебъси мѣти начающи (*proximitatem*); Т 8,18 заперъ сен ѿ насть врага погоняющи на (*persequentem*); Е 6,9 конецъ бо сего вѣка исавъ и начало въслѣдъющи (*sequentis*) йаковъ; Т 8,21 пѣтны<sup>т</sup> дѣющи (*agentibus*); Ю 13,20 обратилъ мя къ ба<sup>т</sup> рѣдъющи (*gaudentem*).

Цсл. языкъ перевода ГБ обязан морфологической системе *volgare* не только спецификой падежных отношений, но и сокращением в объеме категории рода. Свойственный всем романским языкам процесс утраты среднего рода нашел свое отражение в ГБ в особенностях оформления относительного местоимения *иже* и родовой принадлежности отдельных цсл. имен. Относительные местоимения представлены двумя формами *иже* и *таже*, употребление которых аналогично романскому узусу, где полностью отсутствует местоимение среднего рода, а флексии муж. и жен. рода совпадают, за исключением Nom. sing. (qui, quae или qui/quae) и Acc. pl. (quos или quas): Т 2,17 животъ той чае<sup>т</sup> таже бъ дастъ — *viam illam expectamus quam*; Ю 1,6 въ полѣ велицѣ *иже* именуетсѧ рагавъ — *in campo magno qui*; Е 12,37 въ книгъ *иже* видѣлъ сен — *in libro quae*; Ю 3,13 ѿ тѣхъ рожении *иже* могли — *ab his natationibus quae*; Е 11,6 ѿ твари *иже* є на земли — *de creatura quae*; Ю 5,23 ѿ расточенїя *таже* расточении быша — *ex dispersione quae*; Т 5,27 всл *иже* скрѣтъ его иослѧ — *omnia quae*.

Помимо местоимений, утрата ср. рода характерна и для некоторых цсл. имен, оформленяемых Вениамином как *feminina*, ср.: Т 4,12 ѿни-

новенія велика будеть — *fides et magis erit*; Е 6,7 которая будет раз-  
лъченія времъ — *quae erit separatio temporum*; Ю 3,3 вслака въздер-  
жанія — *omnisque possessio*; Ю 11,21 бѣга є шѣщанія твоа — *bona  
est promissio tua*; Е 12,16; Е 12,20; Е 13,53 сї є толкованій — *haec est  
interpretatio* (Е 12,18; Е 12,23 сї є толкованіе — *haec est interpretatio*).

Устройство глагольной парадигмы прошедшего времени в ГБ в значительной мере обусловлено особым статусом отложительных и полуотложительных глаголов в *volgare* и трансформацией временной парадигмы пассива. Бывшие формы перфекта типа *amatus est* в романских диалектах образуют презентную парадигму аналитического пассива, вытеснившую затем старые синтетические образования типа *amat*. Исконное значение прошедшего времени сохраняли лишь парадфразы от отложительных глаголов (*secutus est*). В ГБ это свойство отложительных глаголов нашло свое выражение в том, что только подобные образования допускали вариативный перевод: наряду с конструкцией «страд. причастие прош. вр. + связка», единственно возможной для неотложительных глаголов, здесь появляются формы аориста или л-формы со связкой: 1) Т 1,25 *швращенъ* ε<sup>†</sup> — *reversus est*; Ю 6,9 *швратиша* ε<sup>†</sup> — *reversi sunt*; Е 9,39 *швратиhsа* — *conversus sum*; 2) Е 3,21 рожени съть — *nati sunt*; Е 3,7 родиши<sup>†</sup> — *natae sunt*; 3) Е 8,2 *умре* ; Е 8,3 *умеръ* ε<sup>†</sup>; Т 10,2 *мртвъ* ε<sup>†</sup> — *mortuus est*; Е 12,45 *умроши* — *mortui sunt*; Т 6,14 *мртви* съ<sup>†</sup> — *mortui sunt*; 4) Ю 11,17 *гнѣвенъ* ε<sup>†</sup> — *iratus est*; Ю 5,26 *ра<sup>†</sup>ариша* ε<sup>†</sup> — *irati sunt*; 5) Е 7,121 *жили* есмы; Е 7,124 *пожиом* — *conversati sumus*; Е 7,122 *пожиши* — *conversati sunt*; 6) Е 7,18 *постра-  
даша* — *passi sunt*; Е 10,22 *терпѣли* съть — *passi sunt*; Е 10,22 *тер-  
пѣши* — *passae sunt*; 7) Т 9,8 *входенъ* бѣ — *ingressus esset*; Ю 9,1 *въшла* є — *ingressa est*; Т 6,1; Ю 5,16 *въшли* съть — *ingressi sunt*; П 19,15 *вндоша* съть (sic) *градъ* — *ingressi sunt civitatem*.

Переводы неотложительных пассивных форм перфекта страдательным причастием со связкой в настоящем времени (Е 7,22 *нѣсъ* съѣствовани — *non sunt persuasi*; Ю 14,7 *смѣщены* бѣ — *taebati sunt* и т. д.) в определенной мере также ориентированы на разговорное романское употребление: точным соответствием пассивному перфекту должны были быть формы с аористом или перфектом глагола бѣти в качестве связи, почти не встречающиеся в ГБ (ср. зафиксированную в Донате в качестве вариантной возможность пословного перевода *мн-и-вѣшаго свершенаго*: любимъ есмы или бѣи<sup>х</sup>, еси или бѣи<sup>х</sup> еси, есть или бѣи<sup>х</sup> а множесткенѣ: любимъ есме или бѣхомъ, єсте или бѣсте, съть или бѣша или бѣти (Ягич 1896, 569). Образования со связкой наст. времени в принципе обладают неопределенным временным статусом и 101

потому представляют собой компромиссное решение конфликта значений перфектной книжной латинской формы и ее презентного омонима в живом языке.

## 6. Заключение

Судьба грамматических переводов в истории литературного языка лишний раз подтверждает их «риторичность» и истинную значимость лишь в том культурном контексте, где действуют те же коды, что и при порождении этих текстов. Переводы, возникшие в XV–XVI вв. за пределами Московской Руси и имевшие в качестве авторитетного лингвистического образца национальные литературные языки, естественно, не могли рассчитывать на адекватное прочтение в условиях великорусской языковой ситуации. Негативную оценку получили переводы Франциска Скорины, претерпевавшие в рукописных копиях вне Юго-Западной Руси грамматическую и лексическую правку под влиянием цсл. узуса и лишавшиеся, ввиду спекулятивных обвинений в неправославном происхождении, всяких указаний на связь с именем переводчика (Владимиров 1888). Несколько удачнее в смысле распространения, но никак не в смысле филологической интерпретации позднейшими книжниками сложилась судьба перевода Вениамина: как известно, кодекс 1499 г. был положен острожскими редакторами в основу печатного издания 1581 г. Однако «мифология», стоящая за цсл. языком перевода Геннадиевской Библии, осталась не только невостребованной, но даже не прочитанной при исправлении текста. Официальная версия источников Острожской Библии игнорировала латинское происхождение списка 1499 г., возводя его целиком к переводу с греческого, сделанному ёще *заславінага владімера*. Переведенные с латыни библейские книги при издании в 1581 г. правились частично с греческого, частично с чешского и польского текстов методом конъектурной правки, избирательной в соответствии с новой «мифологией» (греко-славянской или не вполне определенной собственно цсл.), отталкивающейся от самой себя, но не от присутствующей в старом переводе. Конфликт традиционной лингвистической установки, представлявшей грамматические топосы в соответствии с их предшествующей текстологической кодификацией, и независимой от нее новой парадигмы «общих мест» грамматики Максима Грека обусловил резкое неприятие и осуждение его инноваций в Московской Руси.

Филологическая практика книжников по моделированию цсл. грамматики определялась задачей поиска своего решения новой, не свойственной средневековью задачи “not to express or interpret an established truth, but to express the human search for truth” (Picchio 1984, 13) в ее лингвистическом приложении. В каждом случае это решение носило вполне структурный характер, под которым Р. Барт предполагал прежде всего способность воображения, необходимую для оперирования структурой: «созидание или отражение не являются здесь неким первородным “отпечатком” мира, а самым настоящим строительством

такого мира, который походит на первичный, но не копирует его, а делает интеллигibleным» (Барт 1994, 255). Значимость сугубо личностной, индивидуальной диспозиции<sup>13</sup> как главной гносеологической ценности, сущности изобретения моделей грамматики влекла за собой их вынужденную избирательность, принципиальное игнорирование в их рамках требующих кодификации вариативных форм книжного и живого языка и, как следствие, невозможность стать прецедентами реальной грамматической нормализации. В истории цсл. языка грамматические переводы остаются экспериментальными образцами практической реализации общеевропейского лингвистического принципа подобия.

### Литература

- Аверинцев 1996 — Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
- Алисова 1987 — Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. М., 1987.
- Барт 1994 — Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
- Безменова 1991 — Безменова Н. А. Очерки по истории и теории риторики. М., 1991.
- Бобрик 1988 — Бобрик М. А. Вопрос о первоязыке в славянской письменной традиции (постановка проблемы) // Вестник Московского Университета. Сер. 9. Филология. № 6. 1988.

<sup>13</sup> Разрешение конфликта структурной модели и грамматической системы цсл. языка стало возможным с учетом новой императивной диспозиции, исходящей из внутрилингвистической топики цсл. языка. Нахождение новых общих мест и их новое расположение, понятное всем носителям языка, становится логическим продолжением лингвистической деятельности Максима Грека в 50-е гг. XVI в. При переводе Псалтыри 1552 г. изменяется его представление о норме «русского языка»: греческая церковнославянская уступает место ориентации на нейтральное книжное употребление, соотнесенное с разговорной практикой. Изменяется и его взгляд на сущность переводческой деятельности: если ранее критерием качества перевода для Максима было владение переводным языком, а его претензии к русским переводчикам заключались в том, что они «и́бгда не́ полно разъи́щеще ѣалинскихъ речеӣй и́ сего рâdi да́ле́че йстинны Шидаша» (Ягич, 1896, 301), то теперь в глазах ученика Максима Нила Курлятева достоинства переводов Максима по сравнению с предшествующими связываются с качеством их русского языка (ср.: «А врежий переводчицы нашего языка изъвестно не знали, и онѣ перевели ино гречески, ово словѣски, и ино сѣльски, и дрѹгага вѣгарски, и же не ѿдовиншасѧ предложити на рѹскыи языкъ» — цит.: Ковтун 1975, 68).

- Буланин 1995 — Буланин Д. М. Древняя Русь // История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. т. 1. Проза. СПб., 1995.
- Буланина 1985 — Буланина Т. В. Риторика в Древней Руси. Сведения о теории красноречия в русской письменности XI-XVII вв.: Автореферат ... канд. филол. наук. Л., 1985.
- Бычков 1977 — Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические проблемы. М., 1977.
- Бурье 1952 — Бурье Э. Основы романского языкоznания. М., 1952.
- Верещагин 1971 — Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М., 1971.
- Владимиров 1888 — Владимиров Л. В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888.
- Гаспаров 1986 — Гаспаров М. Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. М., 1986.
- Горский, Невоструев 1855 — Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Т. I. М., 1855.
- Дворецкий 1996 — Дворецкий И. Х. Латино-русский словарь. М., 1996.
- Живов 1996 — Живов В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996.
- Живов, Успенский 1986 — Живов В. М., Успенский Б. А. Grammatica sub specie theologia // Russian Linguistics, №10, 1986.
- История 1985 — История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
- Камчатнов 1995 — Камчатнов А. М. Лингвистическая герменевтика. М., 1995.
- Ковтун 1975 — Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975.
- Лотман 1995 — Лотман Ю. М. Риторика // Риторика. Приложение к журналу "Апокриф". № 2. 1995.
- Матхаузерова 1976 — Матхаузерова С. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976.
- Перельмутер 1991 — Перельмутер И. А. Грамматическое учение мондистов // История лингвистических учений. Позднее средневековье. СПб., 1991.
- Пешков 1996 — Пешков И. В. О(т)речение мысли // Л.С. Выготский. Мышление и речь. М., 1996.
- Платонова 1992 — Платонова И. В. Опыт системной реконструкции переведенного текста Библии Ф. Скорины 1517–1519 гг. Дипломная работа. МГУ, 1992 (машинопись).

- Седельников 1926 — Седельников А. Д. К изучению «Слова кратка» и деятельности доминиканца Вениамина // ИОРЯС. Т. 30. Л., 1926.
- Сергиевский 1954 — Сергиевский М. В. Введение в романское языко-знание. М., 1954.
- Срезневский I—III, 1989 — Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Тт. I—III, 1989.
- Стојановић 1905 — Стојановић Л. Стари српски записи и натписи, књ. 3. Београд, 1905.
- Толстой 1963 — Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.) // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963.
- Фасмер I—IV, 1986—1987 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Тт. I—IV. М., 1986—1987.
- Чернышева 1994 — Чернышева М. И. Проблемы влияния греческого языка на язык переводных памятников в древнерусской книжности: Автореф. ... докт. филол. наук. М., 1994.
- Ягич 1896 — Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896.
- Freidhof 1972 — Freidhof G. Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius-Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580—1581). Frankfurt am Main, 1972.
- Freidhof 1984 — Freidhof G. Problems of glossality in newly translated parts of the Gennadius and Ostrog Bibels of 1499 and 1580—1581 // California Slavic Studies, v. 12. Berkeley-Los Angelos-London, 1984.
- Lachmann 1980 — Lachmann R. Die Makarij-Rhetorik. Herausgegeben von Renate Lachmann // Slavistische Forschungen. 27/1. Böhlau, 1980.
- Picchio 1984 — Picchio R. Guidelines for a Comparative Study of the Language Question among the Slavs // Aspects of the Slavic Language Question, v. I. New Haven, 1984.
- Pokorny I—II, 1959—65 — Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, bd. I—II. Bern-München, 1959—65.
- Thomson 1988 — Thomson F. Towards a typology of errors in slavonic translations // Orientalia Christiana Analecta, 23. Roma, 1988.
- Walde I—II, 1938—1952 — Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. Heidelberg, 1938—1952.
- Weber 1984 — Weber R. Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Stuttgart, 1984.

**“Простой” язык Библии Ф. Скорины и Псалтыри  
А. Фирсова: реконструкция механизма  
грамматического подобия**

**1. Вводные замечания**

Парадигма цсл. языка русского извода включала два основных варианта — *стандартный* вариант, определявший максимальную дистанцию между книжным и некнижным языком, и *гибридный* вариант, допускавший наряду с книжными элементами некнижные: “it is probably not a *mere conglomerate of heterogeneous elements, but a secondary linguistic system in its own right*” (Mathiesen 1984). Престиж гибридного варианта заключался в том, что традиция его функционирования создавала условия для появления нового «простого» литературного языка, противопоставленного традиционному цсл. языку. На начальном этапе преемственность нового литературного языка по отношению к традиционному обнаруживала себя лишь в переходе книжных и некнижных элементов через функциональный рубеж: если в гибридном варианте цсл. языка языковое сознание актуализировало книжные элементы, то переход к «простому» литературному языку вызывал закономерный перенос актуализации на некнижные элементы. Таким образом, вначале процесс создания новых императивных текстов представлял собою смену акцентов в пределах исходного гибридного варианта цсл. языка, а отнюдь не резкое устранение сложившихся стереотипов, ибо известно, что «форма живет дальше ее концептуального содержания» (Сепир 1993, 99).

Последовательное структурно-функциональное исследование первых опытов «простого» литературного языка позволило установить принципиально разные типы гибридности, демонстрировавшие разные наборы книжных элементов, являвшихся результатом разных механизмов порождения текстов на «простом» литературном языке (Запольская 1996). Изменения в объеме и характере гибридности были обусловлены процессом языкового влияния, т. е. включением в языковую корреляцию «чужого» культурно доминирующего языка: трансляция культурно доминирующего языка явилась результатом культурно-языковой рефлексии и носила принципиально концептуальный характер. Критерий отсутствия — наличия дополнительного языкового включения и характер самого включения позволяют выделить на структурном уровне три типа гибридности: *интраплингвальный* тип, *транслингвальный* тип и *интерлингвальный* тип.

Диагностической зоной, релевантной для дифференциации гибридных вариантов, явилась зона корреляции языковых элементов на уровне грамматических категорий (далее ГК), в которой наблюдался устойчивый тип отношений, представлявших отказ или принятие «чужого» авторитетного литературного языка. В языковых условиях Юго-Западной Руси (далее ЮЗР) и Московской Руси (далее МР) XVII в. диагностическая структурная зона включала глаголо-образующие ГК лица/рода и имя-образующую ГК одушевленности/неодушевленности, определявшие дистанцию между книжным и некнижным полюсом «своего» языка и дистанцию между «своим» и «чужим» литературным языком.

Так, центральный для русского языкового контекста XVII в. *интраплингвальный* тип гибридности являл собой результат внутренней креолизации «своих» языковых элементов с присущей им исходной грамматической семантикой (примером данного типа гибридности может быть «простой» язык, представленный в житиях Аввакума и Епифания). *Транслингвальный* и *интерлингвальный* типы гибридности, занимавшие принципиально периферийное положение, возникали в результате внешней креолизации, поскольку синтезировали книжные и некнижные элементы, мотивированные авторитетными славянскими языками. Различие между транслингвальным и интерлингвальным типами гибридности заключалось в отсутствии — наличии «чужих» языковых элементов в текстах на «простом» языке. Интерлингвальный тип гибридности был основан на комбинации «своих» и «чужих» книжных и некнижных элементов, что приводило к формально-семантической трансляции «чужого» языка (примером такой языковой данности может служить «общеславянский» литературный язык, представленный в грамматических сочинениях Ю. Крижанича) (Запольская 1998). В свою очередь, транслингвальный тип гибридности был основан на комбинации «своих» книжных и некнижных элементов, терявших в процессе креолизации «свою» и передававших «чужую» грамматическую семантику, демонстрируя тем самым эффект семантической трансляции авторитетного языка. Примером транслингвального типа гибридности можно считать *русский языкъ Библии Ф. Скорины* (далее БС) и «*простой, шыклон словенсконъ языкъ*» Псалтыри А. Фирсова (далее ПсФ), являющиеся предметом исследования в настоящей статье.

## 2. Структурно-функциональный статус языка Библии Ф. Скорины

2.1 «**БИБЛИЯ РУСКА**» представляет собой совокупность изданий, вышедших «Повѣніемъ Працею ИВыкладомъ Изѣрннго Мѣжа въ лѣкарскыѣ наўкахъ Доктора Франціска, Скоринина сына СПолоцка. Устаромъ Местѣ Празжкомъ» между 6.8.1517 г. и 15.12.1519 г.: «*Фалтиръ*» (далее Пс), «*Книга Иѣва*» (далее КИ), «*Притчи Саломона*», «*Книга Исуса Сирахова*», «*Блеснѣстѣсть*», «*Песнь песнамъ*», «*Премудрость Бе-*

жил», «Книги Царства» (далее КЦ), «Книги Иисуса Навина», «Иудея», «Книги Судей» (далее КС), «Книги выгнаны» (далее Б), «Исходя», «Левитъ» (далее Л), «Числа», «Второй законъ», «Руфъ» (далее Р), «Есферь» (далее Е), «Плачъ Еремийнъ», «Книги Даниила пророка» (далее КД) (Біблія 1990–1991).

Феномен БС заключается в том, что она имеет неопределенный языковой статус, поскольку входящая в ее состав Псалтырь написана, по заявлению самого Ф. Скорины, *словенский языкъ*, а все остальные книги написаны *рускими языками*. Исследователи радикально расходятся в понимании *русского языка* БС, считая его либо цсл. языком (Соболевский 1980, Флоровский 1940–1946), либо старобелорусским языком (Владимиров 1888, Карский 1903, Ломтев 1945), либо гибридным языком, полагая, что Ф. Скорина, «сохранив цсл. базу текста, подновил ее живой, народной в основе своей, белорусской речью» (Толстой 1988, 59, также: Живов 1988). Такое же несовпадение мнений наблюдается и при установлении источников БС: в гипотетический состав источников включают чешские Библии (либо печатную Библию 1506 г., либо рукописные Библии), цсл. Геннадиевскую Библию, Вульгату, неизвестную польскую Библию (Владимиров 1888, Флоровский 1940–1946, Соболевский 1888, Копреева 1979).

2.2 Обращение к диагностическим признакам позволяет выявить зависимость *русского языка* БС от чешского литературного языка XV–XVI вв. (Платонова 1992, Кузьмина 1992).

Так, в глагольном ряду, включавшем формы прошедшего времени, центральное положение занимали аналитические формы «перфекта», имевшие непосредственную формально-семантическую «поддержку» в чешском литературном языке: (Gebauer 1958–1963, Селищев 1941).

#### чешский язык

ед.	мн.		
1. -1 + jsem	-1 + jsme	-л + есмъ, есми	-л + есмо
2. -1 + jsi	-1 + jste	-л + еси, есь	-л + есте
3. -1 ± jest	-1 ± jsu	-л ± естъ	-л ± естъ

(Примечание: формы дв. числа окказиональны)

ГП 1 ед.: (1) *Гр/д/це вѣжини потешивалъ ёсмъ* (potešoval jsem) И, 68; (2) *Вышла ёсми* (vyšla jsem) юсеle полна. Р, 6.

ГП 2 ед.: *Иже предалъ ёси* (dals) *насть врѹце враговъ нашихъ нелюдостивыхъ йзаконо преступниковъ*. КД, 23.

ГП 3 ед.: И поставилъ (postavil) и наполи Дұрамъ востране Вавилонстан. И такъ послалъ ёсть (poslal jest) Навходносоръ Царь созвати. Князен Вел"можъ Суден ... КД, 19.

ГП 1 мн.: И несть 8 часовъ сихъ ... давы ёсмо могли (mohli jsme) знанти мность твою. КД, 24.

ГП 3 мн.: (1) Иходили суть (hodili jsu) посрѣди пламени хвалюще вога. КД, 23; (2) Тын пакъ понали (pojali) сове жены Моавланы. Р, 4.

Наряду с ведущими аналитическими формами в роли допустимых вариантов употреблялись синтетические формы аориста и имперфекта, в основном в ГП 1 и 3 ед./мн.:

ГП 1 ед.: (1) Сѣ 8чинихъ тобѣ пословѣсн твоему, Идалъ ёсми тобѣ серце мудро иразумно. КЦ, 255. / Но итые речи ихъ же ёси непросилъ дахъ тобѣ. КЦ, 255; (2) И поставилъ ёсь Храмъ именн г/с/да вога Израилева. КЦ, 285. / многымъ более Храмъ сей ёго же поставихъ именн твоемъ. КЦ, 286. „

ГП 3 ед.: (1) Сыл внегда услышалъ ёсть Царь Вааса, престалъ ставити Рамы. КЦ, 326. Сыл внегда услышалъ пророкъ той старын ... й рече. КЦ, 317. / И внегда услыша Царь Бровоамъ слова мужа божия глаголющаго матривникъ той ... рече. КЦ, 314; (2) ИЦар/с/тковаль ёст Гософать сынъ ёго понѣмъ. ИЦар/с/тковаль самъ вместо ёго. / ИЦар/с/ткова д"ве летт. КЦ, 326-327; (3) И стоялъ ёсть босель подле телеси мер"тваго Илевъ стояше посполу сним". КЦ, 317; (4) [Вен"гаверь] ... владелъ всею страною Арггов"скою / Абинадавъ сынъ Ад"дона владяше Въманайме. КЦ, 259.

ГП 3 мн. (1) Иниже согрешили суть. КЦ, 330. / Ониже съгрѣшиша предъ тобою. КЦ, 289; (2) Ирекли суть кнему. КЦ, 351. / Івѣщаша же вси людніе ирекоша. КЦ, 339; (3) И послали Кобзавели глаголюще... КЦ, 354. / Послаша понего и позваша й. КЦ, 311 (4) и два Львовѣ стояли үкаждое руки. КЦ, 300. / Ониже стояху предъ Царемъ. КЦ, 258.

Использование форм аориста и имперфекта могло иметь стереоскопическую мотивацию, поскольку могло быть и данью цсл. традиции, и в то же время могло иметь непосредственную или опосредованную «поддержку» чешского литературного языка.

Зависимость от цсл. традиции имела прежде всего текстуальный характер, поскольку обнаруживала себя в параллельных чтениях,

«заданных» в языковом сознании текстом Псалтыри, словенский статус которой Ф. Скорина сознательно не менял.

Ср.: **Съгрешинъхомъ соици нашими, везаконовахомъ ииебправдихомъ.** Пс., 188. ⇒ ⇒ **Согрешинъхомъ ивзаконовахомъ ииебправдихомъ** сл. КЦ, 289; **Согрешинъхомъво ивбез"закон"ие чиниходомъ.** КД, 23.

Разрешение на употребление аориста и имперфекта, идущее от цсл. Псалтыри, могло подтверждаться состоянием чешского литературного языка, который потенциально допускал свободную вариацию аналитических и синтетических форм. Существенно лишь то, что степень использования синтетических форм была различна, о чем свидетельствуют разные редакции чешских Библей:

Оломоуцкая Библия 1417 г. ⇒ Библия 1506 г.

[Dvě ženě] tiem činem sě sváriešta (krykowaly) před králem... A když přinesechu (przinesli) meč před krále, i vecě (rzekl) král: "Rozdělte dietě živé ve dvě cesti, dajtež polovici jedné a polovici druhé. Tehdy vecě (odpowiediela) ta žena, jejíž syn bieše (byl) živ, k královi, neb sú sě zarmútila třeba jejie nad jejim synem: "Proši toho, pane, dajte jie dietě živé a nerod'te jeho zabijěti". Proti tomu druhá vecě (odpowiediela): "Ani tobě ani mně bud', ale nechat' je rozdělé". K tomu odpovědě (wydal saud a rzekl) a ťka: "Dajte této dietě živé a nezabijějte jeho, nebot' ona jest mätě jeho". 151b (Staročeska Bible 1988, Biblij Czeska 1506).

Помимо указанных регулярных вариантных форм в контексте прямой речи встречались формы типа пришлихъ, традиционно интерпретируемые как формы с нарушением грамматической семантики, т.е. как гиперкорректные образования.

Ср.: **Иегда рано в' стала ихотелахъ накор"мити сына моего видехъ ёго мертва. Нанегоже внемгда пнл"не погледела ёсми вдень таины позналахъ** иже неесть мой ёгоже родиухъ. КЦ, 256-257.

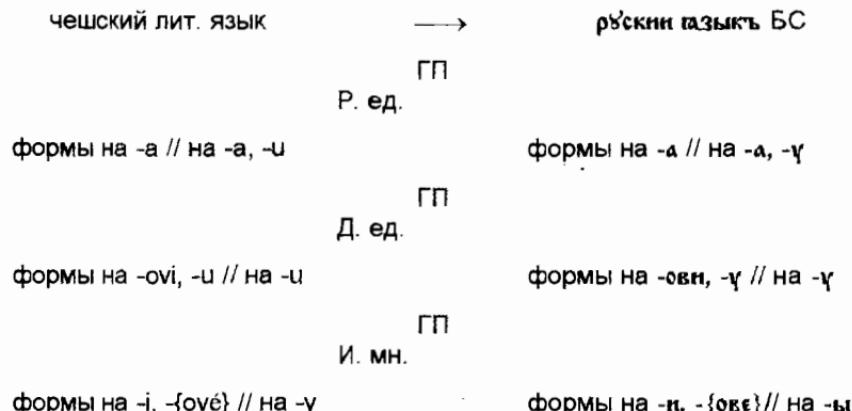
Однако именно эти формы являются наиболее показательными для подтверждения идеи о регулирующем участии западнославянской языковой стихии в языке БС, поскольку эти формы калькируют диалектные формы типа robilach, которые могли окказионально употребляться в литературном языке.

Реальные же нарушения грамматической семантики, а именно, аграмматизм, затрагивали формы, находившиеся в ГП 3 мн., которые представляли или смешение формантов аориста и имперфекта 3 мн., или смешение формантов аориста 3 мн. и имперфекта 3 ед:

ГП 3 мн.: (1) **Ониже потом" смелость взахъ глаголати кнемъ.** Б, 167.  
(2) **Тогда возбо́щеся ивъсташа вси пирю́щие.** КЦ, 246.

Однако данный аграмматизм также мог быть «спровоцирован» чешским литературным языком, поскольку именно в ГП З мн. имело место обобщение формантов аориста и имперфекта, что усложняло ситуацию выбора. Характерно и то, что регулярное смешение формантов *-ша/-шε* происходило при наличии аффикса *съ*, т.е. *а→ε* перед *t'*, что отвечало фонетическому закону чешского языка: Ф. Скорина мог распространить этот закон на искусственную форму.

Именной ряд, как и глагольные, демонстрировал не только формальную, но и семантическую зависимость от чешского литературного языка, что проявилось в объеме реализации ГК одушевленности//неодушевленности. В языке БС, как и в чешском литературном языке, ГК одушевленности//неодушевленности имела максимальный объем реализации, получая формальное выражение в ГП В., Р., Д. ед., И., В. мн. (последняя позиция давала нерегулярную реализацию). Семантическая трансляция, обнаруживающая себя в ГП Р., Д. ед. и И. мн., приводила к тому, что исходные формы-корреляты меняли отношения свободной вариативности на отношения дополнительной дистрибуции:



ГП Р. ед.: (КЦ) **сына** (*syna*) 136, **брата** (*bratra*) 143, **вога** (*bóha*) 157, // **храму** (*chrámu*) 254, **страху** (*strahu*) 209, **боку** (*boku*) 256, **хлеба** (*chleba*) 144.

ГП Д. ед.: (КЦ) **Давыдови** (*Davidovi*) 140, **Саломонови** (*Šalomónovi*) 254, **сыну** (*synu*) 140, // **дому** (*domu*) 152.

ГП И. мн.: (КЦ) **орлы** (*orli*) 134, **psi** (*psi*) 320, **сыновѣ** (*synové*) 15, **предковѣ** (*předkové*) 332, **воловѣ** (*volové*) 278, // **дары** (*dary*) 29, **сосуды** (*sosudy*) 379, **хлебы** (*chleby*) 91.

Отступления от чешской модели реализации ГК одушевленности//неодушевленности либо имели текстуальную мотивацию и наблюдались в чтениях, известных по цсл. Псалтыри (1), либо являли собой примеры морфологической персонификации (2):

ГП И. мн.: (1) [Хвалите г/с/да] горы и веи холмы. ПС, 255. →  
Благите горы и холмы г/с/да. КД, 27. (2) земля потрясется и несет, облачи (oblagové) спустивши дождь. КС, 23.

Выявленный в структурных диагностических рядах состав форм и их семантика позволяют определить русский языкъ БС на структурном уровне как трансгибридный вариант литературного языка, т.е. как вариант транслингвального типа гибридности.

2.3 Однако установленные структурные особенности русского языка БС требуют функционального объяснения, т.е. необходим переход от понимания того, как Ф. Скорина использовал язык, к пониманию того, чем была мотивирована его языковая деятельность.

Формально-семантическая «производность» русского языка БС от чешского литературного языка дает возможность представить механизм порождения *ново выложеныхъ на рускии языкъ* библейских книг как механизм грамматического подобия, предполагавший презентативность форм, демонстрировавших сходство с формами избранного языка-образца: если чешский язык «поддерживал» исходную некнижную форму, то она становилась единственным нормативным элементом, если же чешский язык «поддерживал» исходную книжную форму, то ей отдавалось оправданное предпочтение, что приводило к вынужденному синтезу некнижных и книжных форм.

Ориентация на чешский литературный язык, имевший несомненный некнижный субстрат, позволяет утверждать, что Ф. Скорина мыслил свой русский языкъ как равнофункциональный чешскому литературному языку, т.е. как простой литературный язык. Доказательством этой мысли служат также предисловия и послесловия к *ново выложенымъ* библейским книгам, которые содержат обоснования мотивов и условий использования русского языка в Св. Писании. Так, основной причиной, побудившей Ф. Скорину перевести Библию на русский языкъ, являлась достигаемая этим понятность библейских текстов, позволявшая сделать доступным как религиозное знание, так и знание вообще, знание как принцип, обеспечивавший духовное и интеллектуальное общение: «Понеже нетолико Докторове ю люди вченые винуть разумеють. Но всякий человекъ простыи и посполитыи ч'тучи и/х/ или слухаючи можетъ поразумети ч'то есть потребно қдышному спасению ёго ... Т'я Научение сед'и наука вызволенныхъ достаточ'ю » (Б, 3-5). При этом, утверждая, что «библия руска выложена богъ' кочти и людемъ посполитымъ қдовромъ научению » (Б, 1), Ф. Скорина непосредственно следовал за чешскими реформаторами, переводившими библейские тексты на чешский язык «к похвале божией и к благу верных чехов и мораван» (Мыльников 1990, 258). Равным образом гуманистический тезис о том, что «истина и добро тем похвальнее, чем шире они распространены», делает понятным и представления Ф. Скорины о своей переводческой деятельности

как о личной просветительской миссии. Настойчиво подчеркивая, что «*и мы братия неможем*» ли *вовелики/х/ послужити посполитому люду рускаго языка спе малые книжки праци наше приносиши ить*» (Л, 4-5), Ф. Скорина словно продолжал просветительский диалог с миром, начатый еще Л.-Б. Альберти, заявлявшим: «и не похвалит ли меня, скорее, человек благоразумный за то, что, пользуясь языком понятным, я больше стараюсь помочь многим, чем нравиться немногим» (Альберти 1937, 172). Считая принципиально возможным перевод Библии на *рускыи языкъ*, Ф. Скорина руководствовался идеей «преемственности» литературных языков, позволявшей включить и *рускыи языкъ* в духовную генеалогию литературных языков: «*Феодосий же учитель великий Греческаго языка выложилъ схалдденскаго писма греческое. И светлыи Сронимъ налатни ское зуполе ... азъ теже недостойныи последовникъ и/х/ нароженыи в рускомъ языку спомощию божиейо ... выложиши ... нарусъкыи языкъ зуполи*» (КД, 8). Точное следование главенствующей идеи «преемственности» всех *простых* литературных языков по отношению к «классическим» и в то же время понимание «уподобления» как органического усвоения реального текста-источника и реального языка-источника объясняют отсутствие вербально выраженного указания на чешскую Библию и чешский литературный язык. Аналогичное отношение к «простым» и «классическим» языкам наблюдалось и в польской традиции, например, Библия 1561 г., фактически переведенная с чешской Библии 1506г., декларировалась как перевод с латыни: «Biblia na Polski ięzyk według Łacińskiey Biblię nowowyzozona» (Карский 1896, 34).

Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что Ф. Скорина, получивший образование в Кракове и в Падуе и создававший библейский свод в Праге, безусловно воспринимал свой *рускыи языкъ* в координатах *Pax Latina*, т.е. как один из «простых» славянских литературных языков, функционально равный чешскому литературному языку, образцового литературному языку *Slavia Latina*, обретшему свое достоинство в функциональной оппозиции к латыни. Однако, обращая свой литературно-языковой труд «*людемъ посполитымъ рускаго языка*», Ф. Скорина естественно сохранял языковую память *Slavia Orthodoxa*, воспринимая *словенскыи языкъ* как общее языковое прошлое славян, реально явленное в текстах, известных «*людамъ в рускомъ языку нароженыхъ*». Рассматривая *словенскыи языкъ* и *рускыи языкъ* более в хронологической оппозиции, чем в функциональной, Ф. Скорина проводил историческую аналогию между отношениями *словенского языка* и *руского языка* и отношениями *халденского языка* и *еврейского языка*: Псалтырь в ЕС была «*тиснута*» *рускими словами ѿсловенскыи/и/ языкомъ* (Пс, 6), подобно тому как Книга пророка Даниила была написана «*во іуден Халдескимъ языкомъ*» *иевреискими словами* (КД, 7), *еврейский языкъ онъ же подобенъ*

**естъ Кохал"деіскому понеже Ѵврѣн вышли суть ѿ хал"ден»** (Е,3). Именно осознание словенского языка как в большей степени своего прошлого и позволило Ф. Скорине объединить в Библии «*нѣрѹшающи ни вчемъже*» цсл. Псалтырь, явившуюся результатом действия традиционного механизма репродукции, и «*ново вложенные на рускии языкъ*» остальные библейские книги, порожденные посредством нового механизма грамматического подобия.

Сознательная языковая дифференциация в БС позволяет выделить два основных источника — цсл. Псалтырь и чешскую Библию, однако не традиционно называемую печатную Библию 1506 г., которая отнюдь не всегда дает текстуальные совпадения с БС и которая лишена маркированных форм, а вероятно другую чешскую Библию, чей поиск следует вести, привлекая рукописное наследие.

Итак, принадлежа одновременно *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina*, Ф. Скорина обладал своеобразным «панорамным» мышлением, позволившим ему соединить славянские традиции и инновации.

**2.4. Восприятие русского языка БС и отношение к нему читателей Библии** зависело от того, к какому культурно-языковому ареалу они относились и какие языковые принципы они разделяли.

В культурно-языковом контексте *Pax Latina* *русскии языкъ* БС воспринимался и признавался как один из «простых» литературных языков, достигший достоинства, воплотившись в библейских текстах. Так, профессор Падуанского университета Тезей А. Альбонези издал в 1539 г. «*Введение в язык халдейский, сирийский, армянский и десятки языков других*», где в качестве примера русского языка поместил цитату из 2 Книги Царств БС. Опосредованное участие БС в языковой полемике в координатах собственно *Slavia Latina* могло наблюдаваться также в 30–40 гг. XVI в., когда обострились споры о возможности перевода Св. Писания с латыни на польский язык. В этот период появились библейские тексты на «простом» польском языке, в предисловиях к которым содержались языковые установки, вербально совпадавшие с языковыми установками Ф. Скорины: так, в 1539 г. была издана Псалтырь (*Złotarz Dawidów Walentego Wróbla*), в предисловии к которому указывалось, что польский перевод служил “*pospolitemu czowieku naszego jzyka*” (Klemensiewicz 1981, 229).

Поскольку БС была первой печатной «русской» Библией, широкое распространение она получила в ЮЗР, где была представлена как в монастырских библиотеках, так и в частных книжных собраниях, владельцы которых принадлежали к разным конфессиям. Актуализация в ЮЗР функциональной оппозиции цсл. и «русского» литературного языка, калькирующей оппозицию латыни и польского языка, мотивировала принципиально разное восприятие БС.

Так, православные приверженцы цсл. традиции, оценивавшие свою языковую ситуацию в координатах *Slavia Orthodoxa*, принимали

отдельные книги БС, но не принимали языка: считая русскими и словенскими синонимами, они полагали, что русский языкъ БС несколько испорчен некнижным языком. К числу таких языковых традиционалистов принадлежал, например, некто Василий Жугаев из Ярославля Галицкого, составивший в 1568 г. рукописный библейский сборник, в который включил некоторые книги из БС с предисловиями и послесловиями к ним, заменив при этом имя Ф. Скорины своим: «протоже а василии жжгає/в/ снь зь ярославла в лѣкарескы/х/ наоука/х/ докторъ ... каза/л/ есми списати книгоу стїго іѡва рѣски/м/ газыко/м/agogу къ чти и людем посполитым къ наоучению». Однако в языковом плане рукописный сборник оказался противопоставлен изданиям Ф. Скорины, так как В. Жугаев провел определенную «окнижняющую правку», пытаясь вернуть БС к исконной цсл. традиции: помніула есми → помноуχъ, видели есте → видѣстє, пожидалъ → пожива (Анічэнка 1966).

Книжники, принадлежавшие к разным конфессиям, но оценившие свою языковую ситуацию сквозь призму Slavia Latina, воспринимали русский языкъ БС как «простой» литературный язык и противопоставляли его в своем культурно-языковом контексте уже цсл. языку. Легализация «простого» литературного языка привела к появлению библейских текстов, функционально тождественных БС и обнаруживавших явную зависимость в выражении языковой установки: так, православное Пересопницкое евангелие 1556-1561 гг. было переведено «На мову рѹскою... для лепшо/го/ вýрозумленя людоу хр/с/тіанскаго посполитого», арианский Катехизис С. Будного 1562 г. был издан «для простыдъ людён языка рѹского», а социниансское евангелие В. Тяпинского 1570 г. было издано параллельно на цсл. языке и на «простой мове» «для лепшого разуму» (Martel 1938). Следуя общим языковым установкам, авторы текстов на «простом» языке могли реализовать тот же механизм подобия, но только применяли его к польскому языку как к языку-образцу, чем и объясняется различие манифестаций «простого» языка. Так, например, Пересопницкое евангелие (Огіенко 1930), переведенное, согласно предисловию «ізъ языка влѧгарскаго на мову рѹскою», обнаруживает тем не менее польское языковое влияние, проявившееся, в частности, в трансляции ГК одушевленности//неодушевленности, внутри которой наметилась тенденция к выделению ГК лица (в ГП В. мн.) (Klemensiewicz 1981):

ГП И. мн.: [формы на -и, -ове // на -ы] аггли 18, воини 31, воинове 75, оученици 36, пси 61 // вълосы 72, животы 75.

ГП В. мн.: [формы на -ов, -ы // на -ы] оучинкы 36, оучениковъ 45, чи/в/кы 34, // плоды 41, дары 41, помыслы 36, грѣхи 35.

### **3. Структурно-функциональный статус языка Псалтыри А. Фирсова**

3.1 MP XVI–XVII вв., сохранявшая и защищавшая устойчивость и чистоту православной веры и цсл. языковой традиции, принципиально не принимала западнорусские тексты на «простом» языке, в том числе Библию Ф. Скорины, видя в них еретическое начало (Флоровский 1969). Окказиональное проникновение в MP текстов на «простом» языке стало возможном только с середины XVII в., когда наблюдалось культурно-языковое влияние ЮЗР на MP. Пожалуй лишь один конфессиональный текст на «простом» языке был создан в XVII в. в самой Москве: в 1683 г. появилась Псалтырь (Псалтырь 1989), в предисловии к которой утверждалось, что: «*преведена сія святая бідохновенная книга Ґалтірь, на нашъ простон, шыклон словенскон азыкъ*» (ПсФ, 23). Данная попытка перевода в MP текста Священного Писания на язык, отличный от стандартного цсл. языка, была осуществлена «*труды же и снисканіем Аврамія Панкратієва сна Фирсова*» (ПсФ, 23). Отсутствие достоверных биографических сведений о А.Фирсове и следовательно, о его языковой компетенции существенно осложняет решение вопроса о статусе «простого» языка переведенной им Псалтыри.

Исследователи ПсФ значительно расходятся в интерпретации функциональных параметров «простого» языка, характеризуя его либо как «народный русский язык», не дистанцированный от разговорного языка, либо как новый литературный язык, либо как упрощенный вариант традиционного цсл. языка, перешедший из сферы светских текстов в сферу конфессиональных текстов (Целунова 1985), либо как гибридный цсл., книжный характер которого основан лишь на отдельных признаках книжности (Успенский 1994, 94). Некоторое единство мнений наблюдается лишь при характеристике структурных показателей языка ПсФ, поскольку проведенные исследования продемонстрировали ориентацию «простого словенского языка» на польский литературный язык XVI–XVII вв. (Целунова 1985, 8). Выявленное польское влияние позволило отказаться от первоначальной идеи перевода ПсФ с немецкого языка и мотивировало формирование гипотетического корпуса польских источников, в который включаются четыре Библии: Брестская (Радзивиловская) Библия 1563 г., Библия Симона Будного 1572 г., Краковская Библия Якуба Вуйка 1599 г., Гданьская Библия 1632 г.

При наличии разных точек зрения представляется необходимым применение интегрального структурно-функционального подхода, который позволяет внести некоторые корректизы в существующие представления о языке и источниках ПсФ.

3.2 Обращение к диагностическим рядам структурной зоны дает возможность не просто выявить некоторую формальную ориентацию языка ПсФ на польский язык, а установить наличие императивного участия польского литературного языка XVI–XVII вв. в «простом» языке ПсФ.

Проведенный традиционный статистический анализ глагольного ряда, включающего формы прошедшего времени, продемонстрировал

лишь количественный состав форм без учета их отношений: указывалось, что «71,5 форм прошедшего времени представлены образованиями на -Л (нормативный характер которых следует объяснять характером ориентации переводчика на польский язык), перфект со связкой составляет 15,1 форм, аорист — 13,1, а имперфект — 0,3 общего количества форм прошедшего времени» (Целунова 1985, 15).

Структурный анализ, проникающий во внутреннюю организацию элементов в тексте, снимает их вариативность и позволяет увидеть определенную формально-семантическую дистрибуцию.

Так, следует признать, что центральное положение в глагольном ряду занимали не только синтетические, но и аналитические формы перфекта, распределение которых давало возможность адекватно транслировать ГК рода+лица, релевантные для форм прошедшего времени в польском языке.

польский литературный язык		простой языкъ ПсФ	
ед.	мн.	ед.	мн.
-I ...m	-I ...smy	-Л	-Л- ЕСМЫ
-I ...s	-I ... scie	-Л ЕСН	-Л- ЕСТЕ
-I	-I-	-Л	-Л-
		"	

ГП 1 ед.: **Рассуди же мене гдѣн, понеже из ходилъ (chodzil) в невинности моен.** 25:1.

ГП 2 ед.: Ты штавна еси (tys odprisci) гдѣн вину грѣховъ монх. 31:5.

ГП 3 ед.: Которон сотворил (stworzyl) небо и землю, море и вся яже в них есть. 145:6.

ГП 1 мн.: На рѣках вавилонских тамо сѣдѣли (siedzielismy) есмы и плакали, (plakalismy) воспоминающе сіянъ. 136:1

ГП 3 мн.: Егда молчал состарѣлси (zastarzaly sie) кости моѣ с воздыханіем моимъ на всяки днѣ. 31:4.

Находившиеся на периферии эталонного глагольного ряда формы аориста и имперфекта могли служить дополнительным регулятором ГК лица, так как употреблялись в 1 лице и в 3 лице преимущественно ед.ч. и снимали омонимию Л-форм.

ГП 1 ед.: Оваче чрез четыредесят лѣтъ нача спор, с тѣмъ народомъ и реклъ. 94:10 // рѣкъ, исповѣмъ твѣ бессаконіе мое гдѣн. 31:5.

ГП 3 ед.: И реклъ, кѣ позналъ иже та есть штмѣна десницы вышилгш. 76:11. // Рече беззъменъ в срдѣцѣ своеи, иже неѣть вѣа. 52:2.

Предполагаемая дополнительная формально-семантическая мотивация употребления аористных и имперфектных форм могла входить в более общую предельно формальную мотивацию.

Так, функционирование книжных форм в конфессиональных текстах на «простом» языке могло объясняться устойчивостью цсл. традиции, продолжавшей реализоваться в строго фиксируемых текстуальных условиях (см. далее о жанровой дифференциации псалмов) или в строго замкнутой книжной лексике (например: единственно возможными являлись формы аориста «смятесь» и «смятоша»).

Разрешение на употребление книжных форм могло быть продиктовано и самой польской языковой традицией, допускавшей в конфессиональных текстах периферийное употребление как собственно архаичных глагольных форм, так и «новых» ch-форм типа *robilech*, *robilichmy*.

Подтверждением объемной мотивации служит аналогичное употребление форм аориста и имперфекта на фоне доминирующих форм «аналитического перфекта» в западнорусских псалтырях XVI–XVII вв., переведенных на «просту мову» с польского языка: *Не ѿтворял єсми. 8 // ѿтворях, 41, если надѣмся. 33// надемхся, 31* (Карский 1896).

Формы именного ряда также рассматривались как свободные варианты, нерелевантные для дихотомии книжного и некнижного языков, что предполагало лишь их статистический учет. Так, например, указывалось, что в ГП Им. мн. сущ. м. «с цсл. флексией -I засвидетельствовано 20 имен и 41 имя отмечено с флексией -Ы», кроме того «В=Р одушевленных сущ. отмечен 92 раза, В=И — 110 раз» (Целунова 1985, 11).

Между тем, структурный анализ именного ряда позволил выявить и здесь тенденцию к формально-семантической зависимости «простого» языка ПсФ от польского литературного языка XVI–XVII вв., что проявилось в реализации ГК одушевленности//неодушевленности, осложненной ГК лица. Своеобразная контаминированная категория получала в польском литературном языке формальное выражение у имен м. р. в ГП Им. мн. и В. мн.: в ГП Им. мн. одушевленные сущ., обозначавшие лиц, имели формант I или OWIE, сущ., обозначавшие животных, еще имели вариативные форманты I, Y, тогда как неодушевленные сущ. обладали формантом Y, в ГП В. мн. одушевленные сущ., обозначавшие лиц, имели вариативные форманты I, Y, а все остальные сущ. получали формант Y. Такое же формально-семантическое состояние именных форм представлено и в языке ПсФ, что позволяет говорить об эффекте семантической трансляции:

польский литературный язык

ГП Им. мн

Формы на i, owie/ i-y//y

простой языкъ ПсФ

Формы на и, ове/и-ы//ы

ГП И. мн.: *раби* 147, *вози об.*, *снове* 12 // *скоты* 69, *скоти* 206, // *суды* 28 об., *глаголы* 18.

ГП В. мн.: *враги* 14 об., *враговъ* 11 об., *рабы* 190, *рабовъ* 130 об., *сыны* 186 // *скоты*, *волы* 15 об., *домы* 90, *громы* 39 об.

Аналогичная формально-семантическая трансляция контаминированной ГК наблюдалась и в западнорусских псалтырях, переведенных на «просту мову» с польского языка, что также подтверждало существование общих принципов перевода с польского языка на «простые» языки:

ГП И. мн.: *англи, снове/выкове, скоты//островы, суды*

ГП В. мн.: *сновъ, сны/козлы//городы* (Карский 1896)

Выявленная в глагольных и именных рядах дистрибуция форм и их семантики позволяет отнести язык ПсФ к транслингвальному типу гибридности, т.е. к *трансгидридному* варианту литературного языка.

3.3 Установленные структурные особенности, в свою очередь, дают возможность уточнить функциональный статус «простого» языка ПсФ. Зависимость языка ПсФ от польского литературного языка позволяет реконструировать механизм порождения текста как *механизм грамматического подобия*, предполагающий моделирование «своего» литературного языка по образцу «чужого» авторитетного литературного языка, в роли которого выступил польский язык: если польский язык поддерживал некнижную форму, то она становилась нормативном элементом нового литературного языка, если же польский язык поддерживал книжную форму, она продолжала оставаться достоянием и «простого» литературного языка.

Сознательный выбор в качестве языка-посредника польского литературного языка, имевшего некнижный субстрат, однозначно определяет приверженность А. Фирсова к некнижным формам и позволяет предположить, что А. Фирсов мыслил свой «простой словенский язык» как язык, функционально противопоставленный традиционному «словенскому языку». Подтверждением того, что «простой словенский язык» ПсФ следует рассматривать в рамках оппозиции книжные языки//«простые» языки, являются теоретические положения, представленные А. Фирсовым в «Предисловии к читателю» и в «Объяснении переводчика».

Так, защищая свой перевод на новый литературный язык, А. Фирсов определял дистанцию между «словенским» языком и «простым словенским языком» в категориях недоступности — доступ-

ности и непонятности — понятности. Основной причиной, приведшей А. Фирсова к отказу от традиционного «словенского» языка являлась его непонятность для людей «простых», «неученых», обусловленная зависимостью «словенского» языка от других конфессиональных языков: «... на всякий день читают ея ( псалтырь ) во црквѣ вѣні, но разъма читаемаго въ нен нам вѣдати невозможни... тогд ради, иже въ нашемъ фалтѣрѣ много реченій разныхъ языковъ, намъ ихъ невозможни разъмѣти, но тѣмъ токмо вѣдаются иже многимъ языкамъ искъсни суть» (ПсФ, 27, 28). Въ свою очередь, достоинство «простого словенского языка» заключалось въ томъ, что онъ очищенъ отъ влияния традиционныхъ библейскихъ языковъ «ради истинной вѣдомости и увѣренія неразъмныхъ и простыхъ людей» (ПсФ, 23): «въ сенъ книгѣ фаломонъ истолкованы фалмы на наш простон словенскомъ языке... безъ всякихъ укращенія, удовгншаго ради разъма... здѣ неѣть реченій греческихъ латинскихъ, сербскихъ, волоскихъ, болгарскихъ и еврейскихъ, но все наша славенская простая шыкла рѣчъ, удоворазъмителная предложена безъ укращенія» (ПсФ, 28).

Разрешающимъ условиемъ перевода псалтыри на «простой» языкъ А. Фирсовъ считалъ потенциальное функциональное равенство языковъ, проявляющееся въ сосуществовании разноязычныхъ переводовъ псалтыри: «со многихъ книгъ, разныхъ преводниковъ, со еврейскаго языка, яко суть съ полскаго, латинскаго, немецкаго, и греческаго и иныхъ языковъ преводниковъ суть: седмидесяти и двѣ и стаго црковнаго учителя Геронима, Якова Вуйка, Николая Радзивила и иныхъ преводниковъ» (ПсФ, 28). Упоминание въ предисловии именъ Якова Вуйка и Николая Радзивила навело исследователей на мысль, что А. Фирсовъ использовалъ Библию Вуйка и Радзивиловскую Библию въ качестве основныхъ источниковъ. Однако, въ соответствии съ общепринятой схемой защиты «простыхъ» языковъ въ предисловии отнюдь не предполагалось указание на конкретный текстъ, послуживший источникомъ перевода, необходима была лишь демонстрация определенной языковой компетентности, доказывающей совершенство самого перевода. Вероятно, источникъ следуетъ искать среди отдельныхъ изданий псалтыри, начиная съ Псалтыри W. Wróbla, обращенной къ "pospolitemu czowieku naszego języka". Жанръ предполагаемого источника мотивированъ и темъ, что изъ всехъ библейскихъ книгъ А. Фирсовъ перевелъ именно псалтырь, ибо «сѧ свѣтая книга фалтѣрѣ во црквѣ вѣні на всякий день, во весь годъ читаєма выываетъ... велики полѣзна и потребна суть. Въ ненъ вѣнѣ истинная вѣдомость и величествѣ престола вѣнія» (ПсФ, 26).

Призываю «возлюбленного читателя» читать всю псалтырь «съ разумомъ и неспѣшино, давы разъмѣти глаголемая», А. Фирсовъ все же акцентировалъ внимание на «молитвенныхъ» псалмахъ, имеющихъ непосредственное отношение къ духовной жизни каждого верующего и, следовательно, въ первую очередь требующихъ «простого» языка: «Ты же въ любезныи читателю, еслы восходишъ по сенъ фаломонъ книгѣ вѣні молитнися, и ты сыскавъ въ ненъ фалмы молитвенныя, и читай ихъ неспѣшино, съ разумомъ, ни

в чем не сомнялся. Аще и двдовои тін ұалмы молитвенные, но ты их разъмтиш сеят реченная, понеже ты глещи их сеят» (ПсФ, 29). Принятая жанровая дифференциация внутристального текста могла быть причиной языковой дифференциации, объясняющей то, что в ПсФ встречаются псалмы, оставленные без каких-либо изменений в цсл. языке, и псалмы, в которых цсл. язык совсем не ощущается.

Свою переводческую деятельность, направленную на то, чтобы «*В читанія слова вжія с разъмом множилась в чибцѣх втра*» (ПсФ, 25), А. Фирсов рассматривал как просветительское служение «на славѣ, и честь стомъ именіи вжію и всѣмъ людемъ во шбещѹю ползѹ» (ПсФ, 28).

3.4 Современники А.Фирсова восприняли «простой словенский язык» псалтыри как язык, противопоставленный традиционному «словенскому» языку, и не приняли этот беспрецедентный для МР лингвистический эксперимент, о чем свидетельствует проведенная редакторская работа. В процессе редактирования из предисловия были устранины замечания о функциональном равенстве литературных языков, сняты аргументы, не свойственные текстам православной традиции, и, главное, была проведена «окнижняющая» правка, возвращающая псалтырь к «словенской» языковой традиции:

Аз же ходиатъ ⇒ ходиахъ во истинности моей. 23:11

Понеже оцъ мон и мати моя оставили ⇒ оставиша мя. 25:10

Умножицъ ⇒ умножиша немощи тѣхъ, которые идуть за чужимиъ богом 15:4

Однако, несмотря на проведенную языковую правку, ПсФ не была признана и напечатана: патриарх Иоаким, непримиримый противник латино-польского влияния, «указаль тони книге бытъ в разной казнѣ а без указу смотритъ давать не велено никому» (ПсФ, 5).

Легализация «простого» языка в XVIII в. мотивировала определенное распространение ПсФ, о чем свидетельствуют списки, в которых специально указывается на «простоту» языка псалтыри: «Книга глаголемая ұалтыръ на простымъ языке словянскимъ» (ПсФ, 10), «Ұалтыръ простымъ наречіемъ переведенная и с разныхъ языковъ исправленная» (ПсФ, 7).

Несмотря на некоторое знакомство с ПсФ, она так и осталась на периферии языкового сознания своей эпохи, поскольку в МР так и не сложились исторические условия для появления конфессиональных текстов, порождающий механизм которых может быть определен как механизм подобия. Возникновение в Петровскую эпоху «простого» литературного языка было уже результатом действия механизма элиминации книжных форм, что давало принципиально другие манифестации «простого» языка; кроме того «простой» литературный язык обслужи-

вал уже культуру секулярного типа, что снимало социальный заказ на конфессиональные канонические тексты на «простом» языке.

#### 4. Заключение

Проведенный структурно-функциональный анализ языка БС и языка ПсФ позволил выявить особый тип гибридности — транслингвальный. Трансгидридный вариант литературного языка, возникший в результате действия механизма подобия, устанавливающего конгруэнтность «чужих» некнижных и «своих» некнижных и книжных языковых элементов, демонстрировал семантическую трансляцию авторитетного «простого» литературного языка. Осуществляя принципиально новаторский перевод конфессиональных текстов на «простой» литературный язык, противопоставленный традиционному цсл. языку, Ф. Скорина и А. Фирсов следовали общепринятой культурно-языковой концепции, реализовавшейся в пространстве *Slavia Latina*.

Принадлежа «латинскому миру», *Slavia Latina* противопоставляла литературно-языковому монизму *Slavia Orthodoxa* дуализм, основанный на исходной оппозиции «классических» языков, как языков искусственных, рациональных, универсальных, и «простых» языков, как языков природных, иррациональных, дифференцированных. Общеевропейская концепция «облагораживания» «простых» языков, предполагавшая установление функционального тождества между *lingua litterata* и *lingua rustica* и, следовательно, между *homo litteratus* и *homo rusticus*, была мотивирована гуманистическим принципом доступности наук и просвещения и детерминирована распространением реформационного движения, требовавшего понятности Божественного Откровения. Условием возможности достижения «простыми» языками статуса литературных языков являлось понимание «простоты» и «искусственности» как универсальных этапов развития всех языков, что позволяло рассматривать языки в координатах своеобразной «исторической преемственности»: древнееврейский язык → греческий язык → латинский язык → «простые» языки. Признаком легитимации «простых» литературных языков считалось обретение ими *dignitas*: формальное достоинство утверждалось применением универсальной античной грамматической схемы, а функциональное достоинство выражалось в проникновении в конфессиональную сферу. Способ достижения литературно-языкового достоинства на уровне конкретного текста заключался в следовании обще-теоретическому принципу *imitatio*, проявлявшемуся в лингвистическом плане в уподоблении моделируемого «своего» литературного языка либо классическому языку, либо обретшему достоинство «простому» языку. «Подражание» существенно отличалось от перевода, поскольку понималось как «органическое усвоение» текста-источника и языка-образца, которые могли в силу этого не легализоваться, что создавало эффект самостоятельного филологического творчества. В этой перспективе каждый опыт «простого» литературного языка являл собою пример максимально осознанной языковой деятельности, выражавшей личное

участие пишущего в общем процессе духовного и светского просвещения (Гуковская 1940).

Являясь своеобразным функциональным репрезентантом культурно-языкового пространства *Slavia Latina*, трансгибридный вариант представлял собой принципиально провизорный вариант «простого» русского литературного языка, предшествовавший появлению стабильного стандартного варианта, ориентированного на самодостаточные некнижные элементы.

### Литература

- Альберти 1937 — Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. М., 1937.
- Анічэнка 1966 — Анічэнка У. В. Моўныя асаблівасці выдання Ф. Скорины і рукапісных спісаў В. Жугаева // Весці АН БССР. Сер. грамэд. навук. 1966. №1.
- Біблія 1990–1991 — Біблія: Факс. ўзнаўленне Бібліі, выд. Ф. Скарэнаю у 1517–1519гг. У 3 т. Минск. 1990–1991.
- Владимиров 1888 — Владимицов П. В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888.
- Гуковская 1940 — Гуковская З. В. Из истории лингвистических воззрений эпохи Возрождения. Л., 1940.
- Живов 1988 — Живов В. М. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988, 49–98.
- Запольская 1996 — Запольская Н. Н. Структурно-функциональный статус гибридных вариантов славянских литературных языков // Научные доклады филологического факультета МГУ. 1996, 17-35.
- Запольская 1998 — Запольская Н. Н. Модели «общеславянского» литературного языка XVII–XIX вв. // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. М., 1998, 267–289.
- Карский 1896 — Карский Е. Ф. Западнорусские переводы Псалтыри в 15–17 веках. Варшава. 1896.
- Карский 1903 — Карский Е. Ф. Белорусы. Варшава. 1903. Т. 1.
- Копреева 1979 — Копреева Т. Н. Франциск Скорина и русская рукописная традиция 15 в. // Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1979, 61–70.
- Кузьминова 1992 — Кузьминова Е. А. Системно-функциональная реконструкция языка Библии Ф. Скорины (именные формы) // Дипломная работа. Филолог. ф-т МГУ, 1992, научный руководитель Н. Н. Запольская.

Ломтев 1945 — Ломтев Т. П. Скорина как основатель белорусского литературного языка // Беларусь. 1945. №3.

Мыльников 1990 — Мыльников А. С. Библия на чешском языке // Франциск Скорина и его время (Энциклопедический справочник). Минск. 1990.

Огіенко 1930 — Огіенко І. Пересопницька евангеліє 1556–1561 г. Варшава. 1930.

Платонова 1992 — Платонова И. В. Системно-функциональная реконструкция языка Библии Ф. Скорины (глагольные формы) // Дипломная работа. Филолог. ф-т МГУ, 1992, научный руководитель Н. Н. Запольская.

Псалтырь 1989 — Псалтырь 1683 г. в переводе Авраамия Фирсова. Подготовка текста Е. А. Целуновой. München. 1989.

Селищев 1941 — Селищев А. М. Славянское языкознание. Западнославянские языки. М., 1941. Т. 1.

Сепир 1993 — Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Соболевский 1888 — Соболевский А. И. «Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык». Рецензия на книгу Владимира П. В. // ЖМНП. 1888. Октябрь, 321–332.

Соболевский 1980 — Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л., 1980.

Толстой 1988 — Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина 16–17 вв.) // Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, 6–26.

Успенский 1994 — Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). 1994.

Флоровский 1940–1946 — Флоровский А. В. Чешская Библия в истории русской культуры и письменности (Франциск Скорина и продолжатели его дела) // Sborník filologicky. Praha. 1940–1946. Sv. 12.

Флоровский 1969 — Флоровский А. В. Франциск Скорина и Москва // ТОДРЛ. М., 1969. Т. 24, 155–158.

Целунова 1985 — Целунова Е. А. Псалтырь 1683 г. в переводе Авраамия Фирсова (филологическое исследование памятника). АКД. М., 1985.

Biblij 1506 — Biblij Czeska w Benátkach tisst'ena. 1506.

Gebauer 1958–1963 — Gebauer J. Historická mluvnice jazyka českého. Praha. 1958–1963. D. 1, 3.

Klemensiewicz 1981 — *Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego.  
Warszawa, 1981.

Martel 1938 — *Martel A.* La langue polnaise dans les pays ruthenes Ukraine  
et Russie Blanche 1569—1667. Lille, 1938.

Mathiesen 1984 — *Mathiesen R.* The Church Slavonic Language Question:  
An Overview (9-20 Centuries) // Aspects of the Slavic Language  
Question/ Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven, 1984. V. 1.

Staročeska Bible 1988 — Staročeska Bible Dráždanská a Olomouská. Vydal  
V. Kyas. Praha, 1988.



## «История Российской» В. Н. Татищева: грамматическая дистанция между «древним наречием» и «новым наречием»

Основным содержанием языковой ситуации XVIII в. явилась выработка и становление норм русского литературного языка нового типа. Отчётливое противопоставление цсл. языка «простому русскому языку» как новому литературному языку на «несловенской» основе установилось ещё в Петровскую эпоху, что было обусловлено значительными культурно-идеологическими преобразованиями. Процесс утверждения нового русского литературного языка в этот период поддерживался сознательной государственной политикой. Согласно инструкциям Петра I переводчики и авторы оригинальных произведений должны были писать не только на «славенском» языке, но и на «простом русском языке» или «просторечии». Так, в 1716 г. Петр I повелел «хорошенько выправить» перевод «Разговоров дружеских» Дезидерия Ерасма, употребляя «речения некоторые <...> русского обходительного языка». В 1717 г. Петр I, будучи недоволен цсл. переводом «Географии генеральной» Б. Варения, повелел Ф. Поликарпову выправить перевод «не высокими словами славенскими, но простым русским языком» (Черты из истории 1868, 1054). В 1722 г. была издана «Система или состояние мухамеданской религии», сочинённая Д. Кантемиром по латыни и переведённая на «русское просторечие» И. Ильинским. В переводе к этому труду специально подчёркивалось, что «соизволил Его Императорское Величество... поручити о Мухамеданской Религии и о Политическом Муслиманскаго народа правлении, некое нижайшим стилем и просторечием издание» (Кантемир 1722, 8). В 1725 г. была напечатана «Библиотека» Аполлодора, переведённая с греческого А. Барсовым, в предисловии к которой указывалось, что Петр I в 1722 г. повелел перевести её на «общий российский язык» (Аполлодор 1725, 4).

Начало последовательной теоретической защиты «простого русского языка» как литературного языка нового типа приходится на 30-е — начало 40-х гг. XVIII в.: в это время появляются первые языковые программы. Русские реформаторы рассматривали свою языковую политику как органичное продолжение языковой политики Петровской эпохи. Так, в частности, В. К. Тредиаковский утверждал, что «совершеннейший стал в Петровы лета язык нежели в прежде его бывшии... а от Петровых лет толь отчасу во многих писателях приятнейшим оной становится» (Куник 1865, 14). Основным программным положением первых русских реформаторов явилась установка на

«употребление», которая была органически связана с протестом против «глубокословных славенцизны», т. е. с отказом от славянизмов.

Предметом наиболее внимательного изучения лингвистов явились языковые программы В. К. Тредиаковского, В. Е. Адодурова и А. Д. Кантемира. Наиболее значительные теоретические положения, касающиеся развития русского литературного языка, принадлежат В. К. Тредиаковскому. В предисловии к «Езде в остров любви» (1730) В. К. Тредиаковский, излагая свою программу, заявлял, что он свою книгу «неславянским языком перевел, но почти самым простым Русским словом, т. е. каковым мы между собой говорим» (Тредиаковский 1730, 2). В «Речи к членам Российского с собрания» (1735) В. К. Тредиаковский выступил за проведение последовательной кодификации нового русского литературного языка: реформаторы должны были «заботиться» о «чистом переводе степенных, старых и новых авторов ... о Грамматике добной и исправной, согласной мудрых употреблению ... о дикционарии полном и довольном ... о Риторике, о стихотворной науке» (Куник 1865, 10). Изучение теоретических программ позволило в определенной степени интерпретировать материал языковой практики с точки зрения носителей языка данного исторического периода. Однако, анализируя произведения В. К. Тредиаковского, исследователи отмечали в них широкую вариативность цсл. и русских элементов, что давало повод исследователям говорить о крайней неупорядоченности литературного языка Петровской эпохи и 30–40 гг. XVIII в. и о неопределенности понятия «простой русский язык» (Соболевский 1980, 123; Виноградов 1982, 82–86; Винокур 1959, 117–125; Берков 1936, 20; Сорокин 1976, 50). Следовательно, конкретная интерпретация того, что именно имелось в виду под «простым русским языком» не столь очевидна и требует дополнительного исследования.

Выявить отличительные черты текстов на «простом русском языке», установить структурно-функциональный статус этих текстов и тем самым точнее ориентироваться в вопросе о том, что же именно понимали под «простым русским языком» те, кто его использовал, позволяют материалы языковой программы и языковой практики В. Н. Татищева.

2. В. Н. Татищев, активный сподвижник Петра I и один из наиболее образованных людей своего времени, уделял большое внимание собственно лингвистическим проблемам: «школа, усиление науки в России, очищение и устройство родного языка составляли постоянные мысли, постоянные заботы В. Н. Татищева» (Соловьев 1855). В. Н. Татищеву принадлежат первые по времени предложения о нормализации графики и орфографии; значительна его лексикографическая деятельность и этимологические изыскания («Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обретающихся в России народов», 1739; «Лексикон российский исторический, географический, политический»). В. Н. Татищев сформулировал принципиально важные теоретические положения, среди которых в первую очередь следует отметить поста-

новку проблемы кодификации нового русского литературного языка на разных уровнях, теоретическую защиту «простого русского языка» и протест против цсл. языка. Лингвистические взгляды В. Н. Татищева нашли выражение в его письмах к В. К. Тредиаковскому и И. Шумахеру, в «Инструкции о порядке преподавания в школах при казенных уральских заводах», в «Истории Российской»:

### 1) необходимость последовательной кодификации

Письмо В. Н. Татищева В. К. Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г.

«...я видя вашу в собрании академическом говоренную о исправлении языка славенорусского Речь сердечно порадовался, что так нужное и чрез много лет желаемое дело единою начало свое восприемлет...видимые нам неисправности а из того происходящие вреды пресекутца ... во исправление языка различные обстоятельства разумеются и суще такие, которые токмо в правописании и правоизглашении состоят, другие в правильном разумении силы их, третыи в порядочном и правильном, а паче в кратком, внятном и приятном сложении, четвертые помошь и правильному переводу, к которому нужно совершенное разумение Грамматик обоих языков и полные Лексиконы со фразисами иметь» (Обнорский и Бархударов 1948, 86).

Письмо В. Н. Татищева И. Шумахеру от 22 февраля 1748 г.

«... Подать к тому способы, в которых главное есть тех языков, с которого на который переводить, грамматики и лексиконы сочинить, следственno, нужнейшее славенорусская грамматика и лексикон зделать, которых нет, затем прочих языков, без которых переводы не токмо трудны, но и весьма неисправны являются» (Андреев 1951, 274).

### 2) отношение к цсл. языку — протест против «глубокословных славенщины»

«Инструкция В. Н. Татищева о порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах» от 1736 г.

«Хотя до сего времени неисксустством учителей в обычай введено младенцев обучать азбуке, потом часовник, псалтирь, некоторые же Апостол и все оное наизусть.... и хотя оные книги наизусть читать могли, но силы слов не разумели, писать правильно и порядочно ничего не умели» (Демидова, 1950, 170).

«История Российской» В. Н. Татищева

«Но известно ведаю, что простой народ нигде всех слов славенских не разумеет, разве те, которые о том довольно прилежат и от чтения обыкнут. Но и те книги видим, что после оного перевода некоторо для лучшего выразумения в наречие настоящее переправливаны» (Татищев 1962, 341)

3) защита «простого русского языка» посредством расширения сфер функционирования

«Инструкция В. Н. Татищева о порядке преподавания в школах при казенных уральских заводах» от 1736 г.

«/псалтиль/ для трудного перевода неупотребительных нами многих славенских и и весьма странных речений и сложений многия и учителя сами что читают, не знают, и для того весьма бы нужно такие учебные псалтири со истолкованием всех странных слов или вновь простым наречием переведши иметь напечатать, дабы всяк точно ее разуметь мог» (Демидова 1950, 170).

Выразительной творческой попыткой В. Н. Татищева реализовать на практике программные нормализаторские идеи явилась его «История Российской», которая создавалась на протяжении 20 последних лет жизни В. Н. Татищева (30–50 гг.). «История Российской» состояла из 4 частей: в лингвистическом плане особый интерес представляет 2-я часть — история «от начала российских государей до нашествия татар», т. к. она представлена в двух редакциях — на «древнем наречии» и на «новом наречии», 1-я, 3-я и 4-я части написаны «новым наречием». В Предъизвесчении к Истории Российской В. Н. Татищев сам объяснил появление двух редакций 2-й части:

1) первая редакция — «древнее наречие»

«...разсудя то, что у нас из древних манускриптов, каковых хотя есть повсюду немало и в них разность немалая, но доднесь не един не напечатан и во многих имян творцов не положено... они же в руках разных партикулярных людей, которые часто из рук в руки переходят и съскать после неудобно... и естьли бы наречие и порядок их переменить то опасно, чтоб и вероятности не пагубить. И для того разсудил за лучшее писать тем порядком и тем наречием, каковы находятся в древних, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, ни переменяя, ни убавляя ничего, кроме не надлежащего к светской летописи...

вторая причина употребления древнего наречия есть не бесполезная для того, если кому случится древния писмена обрести, то по сему удобнее может выразуметь» (Татищев 1962, 38–39).

2) вторая редакция — «новое наречие»

«Но как оное в наречии древнем и слоге инде от краткости, инде от избыточного распространения повести не всякому вразумительно, а к переводу на другой язык (которое необходимо для знания о том в Европе требуется) было бы многотрудно и неудобно, того ради я принужден всю её в настоящее наречие преложить» (Татищев 1962, 91)

Сопоставление двух редакций второй части «Истории Российской» позволяет выяснить, какие признаки противопоставляли в языковом сознании данной эпохи цсл. язык и «простой русский язык». Иссле-

дование двух редакций позволило заключить, что точка отсчёта в понимании нового русского литературного языка задавалась цсл. языком. При негативной ориентации «простого» русского языка относительно цсл. языка создание новых императивных текстов осмысливалось как отказ от книжных элементов, релевантных для диахотомии цсл. и русского языков. Цсл. формы, не входившие в набор книжных признаков, допускались в «простой русский язык» на правах нейтральных элементов, в силу чего имело место безразличное смешение русских и цсл. форм. Кроме того, в новом литературном языке оставались цсл. элементы, не имевшие коррелятов в русском разговорном языке. Таким образом, переложение «Истории Российской» с «древнего наречия» на «новое наречие» может рассматриваться как результат действия механизма элиминации релевантных признаков книжности. В силу этого противоречие между языковыми программами и языковой практикой первых русских кодификаторов оказывается в значительной степени фиктивным, поскольку порождение текстов на «простом русском языке» осуществлялось не за счёт воспроизведения разговорной речи, а за счёт отказа от специфических книжных форм, т. е. только от тех славянизмов, которые осмысливались как таковые.

### Элиминация книжных элементов.

#### Уровень грамматических категорий.

ГК лица → ГК рода: аорист, имперфект, перфект → л-формы:

«/Андрей/восхоте → восхотел идти в Рим» (108/29);

«И потреби → потребил их бог» (110/30);

«Владимир же слышав се поиде → пошёл в Киев. И егда приблизился → приближился в неделю... усредоша → встретили его первое народ весь, потом бояре» (179/129);

«Древляне живяху → жили зверским образом... убиваху → убивали друг друга... умыкаху → крали себе невест от отцов и сродни» (111/30);

«И аще кто умираше → умер, творяху → отправляли над ним поминование, и возложат на груду мертвца и сожигаху → сожигали... влагаху → клали в сосуды и поставляху → поставляли на путях» (111/30);

«Половцы слышавше, яко умерл есть → умер Всеволод» (162/99);

ГК числа: ед. ч./дв. ч/мн. ч. → ед. ч./мн. ч.:

«Святополк и Владимир посласта → послали к Ольгови черниговскому»

ГК рода, числа, падежа → Ø ГК: краткие действительные причастия → деепричастия.

«...из нея же исходит река ефиопская Чермная... прилежащи → гранича до Кириинии» (107/25);

«Сим же, Хам и Афет, разделившe → разделя землю, урок положили» (108/29);

«Половцы же слышавше сеа → услыша, убоявшeся → убоявся ушли» (108/151);

#### Уровень средств выражения:

инфинив на -ти → инфинитив на -ть:

«...помыслиша создати → помыслили создать столп до облак» (108/29);

«Урок положили никому оной не преступати → преступать» (108/29);

формы 2 л. ед. ч. наст. вр. на -ши → на -шь:

«Егда ты приидеши → приидешь, то мы побежим в Киев.»

Им. мн. ч. сущ. м. на: -ове → на -ы:

«По потопе трие сынове → три сыны Ноевы разделили землю» (107/25);

Д. ед. ч. сущ. м. на -ови → на -у:

«И достался восток Симови → Симу, Хамови → Хаму же досталась полуденная часть» (107/25).

#### Вариативность нейтральных элементов (цсл.=рус.):

Р. мн. ч. сущ. м.: -Ø=-овъ :

язык (29), от скиф (30)=от лесов (30), от отцов (30)

Д. мн. ч. сущ. м. и ср.: -омъ=-амъ :

ко учеником своим (30)=ко ученикам своим (30), озерам

Тв. мн. ч. сущ. м. и ср.: -ы=-ами :

роды своими (30), пред отцы (30)=имянами (29)

Пр. мн. ч. сущ. м. и ср.: -ехъ=-ахъ :

на местахъ (30), при путехъ (30)=в лесахъ (29), по временахъ(29)

Им. ед. ч. м. прилаг.: -ый=-ой :

словенскый язык (30) = словенской язык

царя перского (30), мертваго (30)=убитого (30)

Нейтральные признаки, т. е. признаки, которые, будучи связаны с противопоставлением цсл. и русского языков генетически, функционально для такого противопоставления не служили, определили область вариаций, составившую исходный материал для дальнейшей кодификации. Сама возможность использования в литературно-языковой практике цсл. по происхождению элементов явилась стимулом для последующего преобразования языковой теории и языковой практики.

3. На следующем этапе кодификации (конец 40-х — 60-е гг.) русский литературный язык стал рассматриваться как язык письменный по преимуществу, не совпадавший с разговорной речью и ориентированный определённым образом на «славянский» язык. Если на первом этапе кодификации вырабатывался и теоретически осмыслился общий тип нового литературного языка и отбирались основные средства, которыми этот язык должен располагать, то на втором этапе наступила очередь для постановки и решения вопросов стилистического применения наличных средств литературного языка для нужд разных видов литературного творчества. Актуальность стилистической дифференциации языкового материала обуславливалась развитием русской литературы классицизма, характеризовавшейся иерархическим распределением жанров. Высокие жанры требовали известной модификации общепринятого литературного языка, т. е. требовали языка украшенного и приподнятого. В контексте русской языковой ситуации само собой напрашивалось соотнесение стилистических оппозиций с диахотомией цсл./русск. языков. Основное значение приобретало противопоставление высокого и низкого стилей, которое так или иначе отражало противопоставление цсл./русск. языков. Соответственно, в языковом сознании формировалась новая функционально-генетическая оппозиция высокий стиль — славянизмы//низкий стиль — русизмы. Новые программы русских реформаторов, прежде всего М. В. Ломоносова, содержали положения о субстанциональной общности русского и цсл. языков и о возможности стилистического распределения элементов этих языковых систем в рамках единого «словенороссийского языка».

Решая в «Российской грамматике» вопрос о том, что «нам должно из /славянского/ языка брать», М. В. Ломоносов кодифицировал как факт грамматической системы нового «российского» языка только те генетически цсл. элементы, которые не являлись релевантными признаками цсл. языка. Кроме того, для диахотомии цсл. и русского литературного языка стала значима генетическая дифференциация вариативных форм, входивших ранее в набор нейтральных элементов: генетическая маркированность стала основой стилистической маркированности.

В кодификации цсл. генетических элементов в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова можно выделить три направления:

а) выбор из форм-дублетов форм, осмысливавшихся как генетически русские формы: формы Р. мн. -Ø, -ов → -ов, Д. мн. сущ. м. -ом, -ам → -ам, Тв. мн. сущ. м. -ы, -ами → -ами, Пр. мн. сущ. м. -ах, -ах → -ах;

б) кодификация обеих варьирующихся форм и их стилистическая дифференциация: в «стиле высоком, где Российской языке к Славянскому клонится», «очень пристойно употреблять» прилагательные Им. ед. м. на -ый, Р. ед. м. на -аго;

в) кодификация и стилистическая маркированность цсл. форм, не имевших соответствий в русском языке: полные причастия на -ущ/-ащ, -вш/-ш, -м, -нн могли быть образованы только от «славянских» глаголов или от «тех российских... которые от славянских как в произношении, так и в знаменовании никакой разности не имеют» и употребляться должны «только в письме», прежде всего в высоком роде стихов.

Таким образом, складывание грамматических норм на втором этапе кодификации оказывалось закономерным продолжением нормализации литературного языка, проводившейся на первом этапе. Соответственно, В. Н. Татищев с полным правом может рассматриваться как непосредственный предшественник М. В. Ломоносова в области нормализации нового русского литературного языка.

Следует вспомнить, что В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов относились друг к другу с большим приитетом, высоко оценивая достижения друг друга в области русского литературного языка:

#### В. Н. Татищев «История Российской»

«Мы хотя можем похвалиться, что наш язык многих полняе и плодовитее и, мню, что в филозофии, математике и прочих науках не хуже французского и германского, но еще красче изъяснить можем, что некоторые члены русской Академии изданием преизрядных книг засвидетельствовали, особливо господина профессора Ломоносова изданная Реторика...» (Татищев 1962, 341).

Письмо М. В. Ломоносова В. Н. Татищеву в ответ на просьбу написать предисловие к «Истории Российской»:

«...имел я издавна желание изыскать случая, чтобы вашему пре-восходительству показать мою услужливость, для того что об охоте вашей к российскому языку слыхал довольно, к которому и я труд свой по силе прилагаю» (Ломоносов 1952, 461).

#### Литература

Андреев 1951 — Андреев А. И. Переписка В. Н. Татищева за 1746–1750 гг.  
М., 1951.

Аллодор 1725 — Аллодора грамматика афинейского библиотеки или о богах /Пер. с греч. А. К. Барсова. М., 1725.

Берков 1936 — Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени 1750–1765. М.; Л., 1936.

Виноградов 1978 — Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 2-е изд. М., 1978.

Винокур 1959 — Винокур Г. О. Избранные труды по русскому языку. М., 1959.

Демидова 1950 — Демидова Н. Ф. Инструкция В. Н. Татищева о порядке преподавания в школах при уральских заводах // Исторический архив. М. — Л., 1950. Т. V.

Кантемир 1722 — Кантемир Д. Система или состояние мухамеданской религии / пер. с лат. И. Ильинского. СПб., 1722.

Куник 1865 — Куник А. Сборник материалов для истории императорской Академии наук в XVIII в. СПб., 1865.

Ломоносов 1952 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. М. — Л., 1952. Т. 7. Труды по филологии.

Обнорский, Бархударов 1948 — Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. М., 1948. Ч. 2. Вып. 2.

Соболевский 1980 — Соболевский А. И. История русского литературного языка /Изд. подготовил А. А. Алексеев. Л., 1980.

Соловьев 1855 — Соловьев С. М. Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855.

Сорокин 1976 — Сорокин Ю. С. Стилистическая теория и речевая практика молодого Тредиаковского // Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976.

Татищев 1962 — Татищев В. Н. История Российской. М. — Л. 1962. Т. I.

Тредиаковский 1730 — Тредиаковский В. К. Езда в остров любви // Тальман П. Езда в остров любви /Пер с франц. на русской. Чрез студента В. Тредиаковского. СПб., 1730.

Тредиаковский 1735 — Тредиаковский В. К. Новый и краткий Способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий. СПб., 1735.

Черты из истории 1868 — Черты из истории книжного просвещения при Петре Великом. Переписка директора Московской Синодальной типографии Федора Поликарпова с графом Мусиным-Пушкиным, начальником монастырского приказа // Русский архив. 1868. №7–9, стлб. 1054–1055.

Ю. В. Кагарлицкий, А. Ф. Литвина

## По ту сторону грамматики: Нормы словорасположения в период формирования литературного языка нового типа

Простому языку первых трех десятилетий XVIII века традиционно отводится роль своего рода эмбриона формирующегося литературного языка нового типа. Почти столь же традиционными стали и дискуссии о том, восходит ли простой язык этого времени к какой-либо их предшествующих письменных традиций, или является принципиально новым образованием; если же преемственность существует — с какой именно из старых письменных традиций он связан: с деловой письменностью, с текстами на гибридном церковнославянском или с какой-либо иной (см. напр. Виноградов 1969; Живов 1996; Унбегаун 1971; Филин 1981). От того, каким образом решаются эти вопросы, зависит решение проблемы генезиса литературного языка нового типа и определение принципов формирования его норм.

Вопрос о месте простого языка в истории русского литературного языка осложняется разнородностью текстов, простота которых декларируется их авторами. Эти тексты, появляющиеся на фоне столь быстро и неравномерно меняющегося культурного ландшафта, созданы людьми, сочетающими в своем образовании компоненты разных культурных традиций и по-разному осмысливающими эти компоненты. Поэтому существенным оказывается выбор значимых текстов и раскрытие механизмов их воздействия на другие тексты на простом языке и на тексты, репрезентирующие литературный язык нового типа.

Выбор значимых текстов особенно важен еще и потому, что в петровскую эпоху требование простоты и понятности предстает как политический лозунг. Не существовало еще развернутой позитивной программы, ставящей целью простоту языка; простой язык не сделался еще предметом грамматического описания, кодификации. Набор текстов с краткими замечаниями авторов об их простоте, соответствующие указания Петра I, отрывочные суждения, разбросанные в переписке, — вот и все, чем располагает исследователь.

Можно рассматривать тексты на простом языке как испытательный полигон для последующего создания кодифицирующей грамматики литературного языка нового типа, тем более что авторы этих текстов часто оказываются представителями того же круга, в котором в более позднее время предпринимаются и первые попытки систематического кодифицирующего описания. Более того, просматривается отчетливая преемственность между культурными позициями Феофана Прокоповича

и Гавриила Бужинского, затем А. Д. Кантемира и В. Н. Татищева, и на конец — В. К. Тредиаковского и В. Е. Адодурова (Живов 1996, 150–151). Есть все основания полагать, что почву для подобного описания авторы текстов на «простом» языке готовили вполне сознательно.

Ядром грамматического описания традиционно является морфология. Предметом языковой полемики второй трети XVIII века, наряду с определенными лексическими соответствиями, был целый ряд особенностей морфологии (Живов 1996; Успенский 1985). При таком рассмотрении наиболее значимыми оказываются тексты, в которых «простота языка» достигается путем правки, — такие, как исследованный В. М. Живовым (1985; 1988) перевод «Географии генеральной», выполненный Федором Поликарповым и правленный Софронием Лихудом; «История Петра Великого» Феофана Прокоповича. Правка осуществлялась в направлении устранения из текста маркированно книжных элементов, например простых претеритов, и сохраняла вариативность ряда морфологических показателей, уже в предшествующую эпоху не бывших значимыми с точки зрения противопоставления «книжный — некнижный». Создавая простой текст, автор отталкивается от текстов на гибридном церковнославянском, напротив, включающих в себя маркированно книжные элементы как статусно необходимые для признания книжности текста (Живов 1988). Таким образом, простота языка предстает как в значительной степени негативное определение.

Подобные тексты, в которых простота достигается путем целенаправленной правки, обладают значительной вариативностью, рассматриваемой, вообще говоря, как непременное свойство простого языка, хотя не все тексты на простом языке в равной мере вариативны. Лингвистические дискуссии последующих десятилетий, более или менее удачные попытки установления языковой нормы (например, нормализующая деятельность Академии наук) базируются на этой вариативности как на основе и одновременно знаменуют собой ее поэтапное преодоление, хотя и происходящее порой сложным, нелинейным путем. Итогом этой деятельности стало, с одной стороны, кодифицирующее описание морфологии русского литературного языка, каким мы застаем его к середине XIX века, с другой же — все многообразие текстов на литературном языке, в которых нормы, зафиксированные в этом описании, реализуются.

В этой связи следует отметить, что тогда как простой язык текстов первой трети XVIII века, как уже сказано, соотносится с предыдущей «версией» книжного языка, его связь с русским литературным языком, скажем, начала XIX века достаточно опосредованная, определяющаяся скорее местом в системе культуры (для простого языка проектируемым, для литературного языка XIX века — актуальным), чем преемственностью собственно лингвистических параметров.

С другой стороны, нормы нового литературного языка, сформировавшиеся к XIX столетию, естественно, не ограничиваются орфоэпий, орфографией и морфологией. Традиционная же грамматика в

основном сосредотачивалась на этих языковых уровнях. Скажем, в ее рамках практически не существовало синтаксической теории; сведения, относимые современной лингвистикой к синтаксису, рассматривались, например, в рамках описания узуса словоформ или в рамках риторической традиции, как учение о периоде. Ряд важных норм, таким образом, выпадал из общего круга правил, представленных в грамматических описаниях, и мог определяться только ориентацией на господствующую практику порождения письменных текстов.

К числу этих норм относится порядок слов в предложении — одна из наименее изученных в этом аспекте категорий синтаксиса<sup>1</sup>. Следует сказать, что порядок слов как лингвистическая характеристика плохо локализован в системе уровней грамматического описания: он то предстает как категория стилистики, то как средство эмфатического выделения, то как элемент учения о периоде. Никакого связного учения о порядке слов ни в одном из кодифицирующих описаний нет по крайней мере до середины XX века. В то же время представление о правильном, предпочтительном порядке слов играет весьма существенную роль в восприятии данного текста как написанного на литературном языке. Специфический порядок слов того или иного автора уже в первой половине XIX века может служить объектом пародии; сознательные изменения в этой области мы можем трактовать как архаизацию или стилизацию языка, как в письме А. А. Петрова Н. М. Карамзину от 11 июня 1785 года: «Для дополнения же твоего искусства писать таким слогом, советую тебе читать сочинения и переводы в стихах и в прозе Вас. Тредиаковского, коего о в любви езде остров книжницею пользуюсь, переводною, ныне, с Французского языка, и весьма ту читаю» (цит.: Успенский 1985, 157, в примеч.). Именно закрепившееся в языковом сознании представление о (прямом) порядке слов в литературном языке делает возможным использование порядка слов и как средство актуального членения предложения, и как стилизующий или архаизирующий прием, и как инструмент эмфатического выделения.

Таким образом, для нас существенно, что, во-первых, к середине XIX века в русском литературном языке существуют определенные нормы словорасположения; во-вторых — что эти нормы специфичны по сравнению, например, с нормами в области морфологии; в-третьих, что эти нормы касаются лингвистического параметра, достаточно вырази-

<sup>1</sup> Представление о порядке слов в предложении включает в себя довольно широкий круг моделей взаимного словорасположения: порядок следования субъекта, объекта и глагола-сказуемого; пост/препозитивное положение определения и т. д. Обычно эти модели коррелируют между собой (ср. Гринберг 1970); однако синхронный срез языка как правило дает картину достаточно пеструю и не укладывающуюся в теоретические модели. Тем более противоречива ситуация в литературном языке, складывающаяся зачастую под влиянием экстралингвистических факторов. В настоящей работе мы рассматриваем порядок слов как нечто целое, допуская в то же время относительную независимость моделей словорасположения для разных групп членов предложения.

тельного с точки зрения обыденного сознания, представленного практически во всяком письменном тексте, и что, таким образом, порядок слов — один из наиболее ярких факторов, формирующих «образ» письменного текста и литературного языка.

Традиционно первая треть XVIII века, по крайней мере два первых ее десятилетия, характеризуются как время господства вариативности в области словорасположения для текстов самых разных типов (см. напр.: Ковтунова 1969, 71–120). Столкновение нескольких противоречащих друг другу тенденций словорасположения давали картину неформативности и неупорядоченности. В многочисленных технических и научных текстах, переводимых с латинского и немецкого языков, часто сохраняется словорасположение оригинала. Именно эти тексты принято считать источником широко распространившейся SOV-модели (Ковтунова 1969, 80–85). В то же время эта модель уже с конца XVII века широко распространена в той части деловой письменности, где порядок следования элементов не задавался жестко существующим формулляром. С другой стороны, хотя SOV-модель в первой трети XVIII века является преобладающей для широкого круга текстов, принято говорить скорее о действующем шаблоне, преобладающем варианте, чем о норме, так как SVO-вариант не только достаточно часто встречается в тех же текстах, что и SOV-вариант, но его появление в массе случаев не может быть мотивировано каким-либо значимым поводом (Ковтунова 1969, 80–85). Поэтому можно говорить о вариативности словорасположения в означенном корпусе текстов, причем один из вариантов существенно преобладает.

В текстах риторического характера (об этом см. также ниже), даже в тех из них, что не были написаны на языке высокой книжности, вариативность порядка слов, — скажем, в части пост/препозитивного расположения атрибута — могла быть сознательно вызвана применением определенных приемов построения периода, например хиазма или параллелизма. Исходным прототипом такой вариативности служили, видимо риторические руководства, как латинские (напр. *Orator* Силуана Озерского (1688), *Concha* Иннокентия Поповского (1698), анонимная *Classis Tulliana* (1699), *De arte rhetorica* Феофана Прокоповича (1699)), так и на них ориентированные и им следующие позднейшие русскоязычные.

Обсуждая перспективы становления единой нормы, нельзя отрешиться от культурного контекста, в котором это становление происходило. Начало нового времени характеризуется расширением диапазона культурной деятельности человека и, тем самым, ставит вопрос о создании универсального литературного языка, пригодного для использования в самых разных ситуациях. С другой стороны, возрастает необходимость в дифференциации языковых средств, применяемых в каждом конкретном случае, будь это практический повод или замысел литературного произведения в определенном жанре. Таким образом, литературная (в самом широком смысле) деятельность предстает как отражение в языке всего многообразия жизненных проявлений homo

*universalis*. При этом идеалу универсальной личности соответствует универсальная же модель литературного слова. Начиная с Возрождения, роль такой модели — прототипа всех прочих видов письменного дискурса — играла риторика (ср.: Аверинцев 1996).

Какое влияние риторика оказывала на выбор нормы в области словорасположения? Риторическая практика освящала своим авторитетом безграничную вариативность порядка слов в предложении. Ритор имеет свои, имманентные его искусству резоны, как располагать слова. То или иное словорасположение может мотивироваться ритмикой, окказиональной рифмой и другими особенностями ораторского слова. При этом словорасположение в рамках риторического периода предоставляет в наше распоряжение широкий диапазон различных моделей в группах S—O—V и в группах Adj—N; вариантов дистантного расположения главного и зависимого слов и т. п. Строение периода, по всей видимости, имеет смысл рассматривать в целом, не разбивая на элементарные группы. Разумеется, у ритора (и у слушателя) могут быть свои представления о том, какой, допустим, порядок в группе S—O—V является более естественным. Очевидно, например, влияние образцов латинского красноречия на русскоязычные риторические тексты, создающиеся, вообще говоря, в мощном культурном поле схолатической образованности. Русские риторы старшего поколения, например Стефан Яворский, буквально сначала составляли проповедь на латыни, а затем уже переводили на церковнославянский. Соответственно, предпочтительным оказывается SOV-порядок, что подтверждается, как мы уже говорили, и другими разновидностями письменной речи.

Однако чаще речь идет о том, что, наоборот, определенное словорасположение представляется *менее* естественным. Риторическая речь рассматривается как украшенная (*verba ornata*), и тем самым удаленная от естественной, в той или иной степени — точно так же, как на figurativном уровне она рассматривается как более или менее метафоричная. Этот момент очень важен, коль скоро мы собираемся обсуждать проблематику текстов на простом языке.

Требование простоты текста, как уже говорилось, подразумевает преодоление церковнославянской языковой стихии. Но это лишь самое поверхностное понимание. Следует учесть особую ситуацию петровской эпохи, когда на вековую церковнославянскую письменную традицию накладывалось школьное латинское красноречие. И то, и другое воспринималось как факторы, затрудняющие понимание письменного текста. Простота языка, понимаемая в петровскую эпоху как часть ориентированной на протестантские культурные модели языковой программы, должна была состоять не только в преодолении церковнославянской природы русской письменной речи (по аналогии с латынью в европейских странах), но и в отказе от тяжелых периодов, избыточной figurativности и метонимичности. Ср. следующее суждение о культурной позиции Феофана Прокоповича: «По существу, Феофан осуждает эллинизированный церковнославянский на тех же основаниях, на которых он высмеивает барочную изощренность проповедей Т. Младзяновского и

других польских и иезуитских проповедников... Рациональная, общедоступная и полезная государству катехизация противопоставляется как неудоборазумительному церковнославянскому учению, так и аффективированной барочной проповеди» (Живов 1996, 137)<sup>2</sup>.

Между тем, с точки зрения попыток создать положительные образцы простого языка здесь все обстояло несколько сложнее. Если в части лексики и морфологии простота могла быть достигнута за счет лексической и морфологической правки, поскольку к этому моменту в языковом сознании уже сложилась система соответствий между книжно-церковнославянскими лексическими и морфологическими элементами и их некнижными коррелятами. В области же порядка слов таких соответствий не было и быть не могло. Ведь корпус риторических текстов, образующий негативный полюс в представлениях о простом языке, давал лишь примеры в той или иной степени воспринимающиеся как аномальные. Мог *de facto* вводиться «мораторий» на длинные, пере усложненные периоды, что и имеет место, например, в «Первом учении отроком» (1719) Феофана Прокоповича. В процессе правки, наряду с исправлением грамматики, могли устраиваться отдельные случаи дистантного расположения зависимого слова: в правке «Географии генеральной», выполненной Софонием Лихудом, «*єже безъ сей земли фигы познанія быти не можашъ*» правится на «*єже безъ познанія сей земли фигы быти не могло бы*» (Живов 1996, 100). Однако никакого естественного, «прямого» порядка слов для целого ряда наиболее часто встречающихся конструкций письменные тексты описываемой эпохи не знают. Универсальной нормы, которую можно было бы принять за основу или от которой хотя бы можно было бы отталкиваться, в первой трети XVIII века не существует<sup>3</sup>.

Формирование нормы в области морфологии было облегчено актуализированностью морфологических характеристик в контексте существовавших к тому времени грамматических описаний. Что же касается фразового и сверхфразового синтаксиса, культура первой трети XVIII века знала здесь только одно целостное теоретическое учение — риторику. Авторитет риторики в образованных кругах был очень высок, никакой альтернативы ей не было. Специфика же предписаний в област-

<sup>2</sup> Впоследствии, в эпоху жанрового размежевания языковых средств вызывающий неприятие Феофана стилистический полюс находит свое место в концепции М. В. Ломоносова в понятии «витиеватого стиля»: «Витиеватые речи (которые могут еще называться замысловатыми словами или острыми мыслями) суть предложения, в которых подлежащее и сказуемое сопрягаются некоторым странным, необыкновенным или чрезъестественным образом, и тем составляют нечто важное и приятное» (VII, 204–205).

<sup>3</sup> Даже в ломоносовскую эпоху говорить о «прямом» и «обратном» порядке слов, как это делает М. Л. Гаспаров (1996) нам не представляется возможным. Традиционно начало формирования единой нормы словорасположения относят лишь к последней трети XVIII века (Ковтунова 1969: 71–120; Виноградов 1982: 168–180), хотя «прообраз» этой нормы возникает еще в конце 1720-х годов (см. ниже).

ти синтаксиса, даваемых риторической теорией, такова, что, как уже было показано, они не допускают возможности формирования нового синтаксиса как простого отрицания старого.

Так, между моделями SOV и SVO не существует каких-либо культурных противопоставлений; мы не можем быть уверены в адекватной оценке значимости этой оппозиции для языкового сознания вообще. Между тем, господство определенной модели словорасположения, как уже говорилось, представляет собой одну из наиболее выразительных черт текста, легко поддается стилизации, пародированию, наконец простому подражанию. Все это делает порядок слов весьма значимым в контексте системы языковых норм, ориентированной на узус определенной социальной группы, — подобной той, которая была разработана французской грамматической мыслью XVII—XVIII веков (о рецепции этих представлений в России в описываемый нами период см.: Успенский 1985).

В работах, посвященных русскому языку и культуре первой трети XVIII столетия (ср. напр. Успенский 1985; Вомперский 1988), подробно говорится о рождении прециозной культуры, трактовавшей словесное творчество как важный аспект утонченных человеческих отношений в светском обществе. Человеческим идеалом в придворной среде, вообще в кругу культурной элиты, становился в известной мере «придворный человек» — остроумный, блестящий, способный легко и изящно выражать свои мысли.

Поэтому когда В. К. Тредиаковский говорит в хорошо известной речи 14 марта 1735 года перед членами «Российского собрания»: «Украсят иной [литературный] язык. — Примеч. В. П. Вомперского] в нас двор ея величества в слове наинучтивейший, и богатством наивеликолепнейший. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшие ея министры, и премудрейшие священно-начальники, из которых многие, вам и мне известные, у нас таковы, что нам за господствующее правило можно бы их взять было в грамматику и за наикраснейший пример в риторику. Научат нас и знатнейшее и искуснейшее дворянство» (Вомперский 1988, 117), — он имеет в виду далеко не только дежурные комплименты правящему классу. Здесь в нескольких словах, по существу, представлена широкая программа создания литературного языка, опирающегося на узус культурной элиты. Для нас здесь важно, что духовенство упоминается Тредиаковским в общем ряду, и грамматика и риторика упомянуты в таком контексте, чтобы подчеркнуть: не где-нибудь, а в придворном кругу (включающем и высшую церковную иерархию) рождается подлинная грамотность речи и подлинное красноречие<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Все это, разумеется, не отменяет сложного взаимодействия понятий нормы, употребления и вкуса в стилистической теории Тредиаковского (Вомперский 1988: 115–124), воспринявшего в ранний период своего творчества идеи Вожея и других французских грамматистов (Успенский 1985: 131 слл.).

Итак, наряду с фигурой ритора, строящего свою речь по определенным теоретическим предписаниям, появляется фигура «придворного человека», в основе речи которого — утонченность, изящество, вкус. Можно сказать, что появляется конкурирующая модель *homo universalis*. Если ранее прототипом любого дискурса была риторика, риторическое слово, то теперь роль прототипической модели может выполнять светская беседа, а если не ступать на зыбкую почву ускользающей от восприятия исследователя устной речи эпохи, — эпистолярный жанр, любовная, дружеская и иная переписка.

Как известно, уже в первой трети XVIII века существовал узкий круг, в основном, состоявший из дипломатов, для которых было характерно свободное владение французским языком, знакомство с литературной жизнью Франции, и что особенно важно, обычай переписываться по-французски. (Успенский и Шишгин 1990, 134–143). Таким образом, прециозная культура<sup>5</sup> в известной мере уже воплотилась для них в конкретной прототипической модели — эпистолярной. Это делало французские культурно-языковые модели универсальными и втягивало в орбиту франкоязычного эпистолярного творчества другие, совершенно чуждые ему жанры.

Ниже предлагается анализ порядка слов в ряде текстов на простом языке<sup>6</sup>. Рассматриваются следующие тексты: «Таблица Кевика философа или изображение жития человеческого, переведено с французского князем Антиохом Кантемиром в Москве лета Христова 1729»; «Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, с французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году»; «Езда в остров любви. Переведена с французского на российский Василием Тредиаковским в 1730 году»; «Предлог поданный от господ учителей Сорбонских его царскому величеству, когда он изволил быть в доме Сорбонском в 1717 году, касающийся о посредствиях к соединению великороссийская церкве с латинскою при том же и ответы оным Сорбонским учителям на тот предлог от российских архиереев, переведено на простой российский язык» (перевод выполнен А. А. Вешняковым в 1729 г., подробнее об этом переводе см.: Успенский и Шишгин 1990, 196; Литвина 1993, 105, 111; там же см. библиографию о дипломатической деятельности Вешнякова)<sup>6</sup>.

Анализ текстов дает следующие результаты.

<sup>5</sup> В трех из четырех рассматриваемых ниже текстов простота явно декларируется. «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в переводе А. Д. Кантемира, хотя и не содержит такой декларации, однако и по морфологическим характеристикам, и по моделям словорасположения близки к «Таблице Кевика философа», переведенным Кантемиром годом ранее, и поэтому традиционно рассматриваются в ряду текстов на простом языке (см. напр. Сорокин 1982; Живов 1996: 157–158).

<sup>6</sup> Далее эти тексты сокращенно называются 1К, 2К, Т и В соответственно.

*Группа V-O.* Оба перевода Кантемира характеризуются преобладанием постпозитивного расположения зависимых членов (VO-модель). Их примерно в 2.8 раза больше, а помещение зависимого члена в препозицию представляется нам в большинстве случаев произвольным, не связанным ни с семантикой этих существительных, ни с актуальным членением. Примеры: *Она обещает ему житие сладостное* (2К, 19); *Фигура эта стоит на глобусе* (1К, 387). Но: *Фортуна на последок их к себе привлекает* (1К, 388).

У Тредиаковского VO-модель используется в подавляющем большинстве случаев, но в отдельных местах встречаются неожиданные скопления глагольных словосочетаний, где зависимое слово стоит в препозиции по отношению к глаголу, хотя в остальном в этих местах переводчик близок к оригиналу. Примеры: *Я увидел ея печаль* (Т, 40); *И тогда добрался до этого острова* (Т, 11). Но: *онъя прекрасныя девицы в так великую меня радость привели, что таковой по другим местам нигде я не имел, которые еще прямого способа не знают, как любить* (Т, 79).

У Вешнякова VO-модель преобладает в абсолютном большинстве случаев. Примеры: *нарушит волности нашей церкви* (В, 17); *благословил венцом* (В, 20); *не касается до церквей греческих* (В, 21). Здесь мы, видимо, имеем дело со своеобразной внутритекстовой нормой, тем более что Вешняков использует модель французского оригинала, а не только копирует в каждом отдельном случае его порядок слов. Так, словосочетания получили Иисусом Христом (В, 19), не касаются до церквей греческих (В, 21) и ряд других не имеют соответствий во французском оригинале.

Можно предположить, что отступление от постпозитивного расположения зависимых слов связано у Вешнякова с актуализацией. Примеры: *мы не боимся во Франции, чтоб он когда-нибудь нарушил наши преимущества и уничтожил волности нашей французской церкви, понеже мы учим и показываем, что он к сему и власти не имеет* (В, 12); *не распространяются и не касаются до церквей великороссийских, которые к сему никогда и никакого согласия своего не давали* (В, 12).

*Группа S-V.* Что касается позиции подлежащего по отношению к группе сказуемого, то абсолютно преобладающей во всех четырех переводах является препозиция субъекта, хотя возможна и постпозиция: *оттуду вселится я в сие место* (Т, 59).

*Группа V-Adv.* У Кантемира явно преобладает препозиция наречия по отношению к глаголу, хотя постпозиция наречия тоже возможна. Примеры: *изрядно случилось* (1К, 380); *не внезапно их убивает* (2К, 14); но: *бежит и туды и сюды безрассудно* (1К, 385). Вешняков же и Тредиаковский из возможных вариантов словорасположения выбирают тот, который соответствует порядку слов французского оригинала. Примеры: *продлить вечно* (В, 7); *сказать равно* (В, 20); *исполнить точно* (Т, 63); *учинил нарошно* (Т, 101). Здесь Кантемир оказывается

ближе к будущей норме словорасположения литературного языка нового типа.

**Группа N-Adj.** Препозитивное расположение качественных прилагательных, видимо, можно считать нормой для самых разных литературных текстов первой трети XVIII века. Некоторая вариативность может здесь наблюдаться в текстах с ярко выраженной риторической направленностью, в тех случаях, где делается попытка украсить текст за счет разнообразия семантически равнозначных сочетаний (Ковтунова 1969, 96; Лаптева 1959). И Кантемир, и Тредиаковский, и Вешняков следуют в своих переводах норме AdjN, а не той модели NAdj, которую предлагает французский оригинал. Случай NAdj в этих переводах очень немногочисленны и либо объясняются специфической формой прилагательного (у Кантемира в постпозиции может оказаться краткое прилагательное, употребленное в функции определения: *Мину учтиву и целомудренну имеет* (1К, 381)), либо могут быть связаны с актуальным членением: *Обещают ему житие сладостное и всякого беспокойства чуждое* (1К, 387).

**Позиция притяжательного местоимения.** Притяжательные местоимения во всех четырех текстах могут находиться как в постпозиции, так и в препозиции. Примеры: *ваш труд, старания ваши, их мнения* (2К, 44). Местоимение *свой* в переводах Кантемира и Тредиаковского свободно находится и в постпозиции, и в препозиции, что обычно для текстов того времени. Но у Вешнякова оно всегда, за исключением одного случая, в постпозиции; он даже правит *свою силою на силою свою* (В, 25).

Как видно, переводы с французского оказывают нормализующее влияние на порядок слов в текстах на простом языке. Эта нормализация оказывается прототипом той, что имела место позднее, в период становления норм словорасположения в литературном языке нового типа. При этом можно заметить, что норма французского оригинала заимствуется не во всех случаях; наиболее ярким случаем является группа V-O: здесь не только заимствуется порядок слов оригинала, но и (у Вешнякова) вырабатывается ориентированная на французский язык внутритекстовая норма. Напротив, в случае группы Adj-N стабильно употребляется модель, вероятно, уже осмыслившаяся как норма родного языка. В других случаях может допускаться большая вариативность, впрочем, тяготеющая к норме.

Характерно, что приведенные тексты относятся к жанрам в той или иной степени удаленной от эпистолярного прототипа. Мы, в свою очередь, с той или иной степенью произвольности можем связывать первые с последним говоря о: ориентированности на прециозный идеал, выраженный в «Езде в остров любви»; зависимости жанра «Разговоров о множестве миров» от салонной культуры и от салонной переписки; о предназначенности вешняковского перевода «Предлога...» для религиозного просвещения дворянской молодежи — и соответственно ориентированности его на салон (Успенский и Шишкин 1990,

143сл.). Ясно, однако, что в конечном итоге речь идет об определенном тяготении всех типов культурной деятельности к развертыванию в пространстве светского салона, но не о детерминированности языкового типа той или иной конкретной ситуацией. И именно это дает нам основания говорить в данном случае об эмбрионе единой литературной нормы словорасположения.

С известной долей условности можно сказать, что отныне в языковом сознании сосуществуют — иногда актуально, иногда потенциально — две конкурирующие прототипические модели письменной речи. Одна ориентирована на риторику с характерным для последней вариативным словорасположением, другая — на салонную эпистолярно-разговорную прозу с более или менее нормативным порядком слов. Первая предполагает порождение нового текста по определенным правилам, составляющим риторико-грамматический комплекс, и в рамках этих правил допускает известную свободу. Другая вводит определенные правила речи, *принципиально некодифицированные*, однако достаточно ярко характеризующие «образ» письменного языка.

При полном молчании грамматико-риторической традиции, никак не высказывающейся на этот счет, модели конкурируют в течение десятилетий. Вначале, в особенности в эпоху культурного синтеза второй половины XVIII века (Живов 1996, 402сл.), явно доминирует риторический прототип, что вполне понятно; однако к концу столетия, в эпоху «нового размежевания культур» (Живов 1996, 419сл.), в ходе карамзинского преобразования и обновления языка берет верх «эпистолярная» модель, победа которой воплотилась в «Письмах русского путешественника».

## Литература

- Аверинцев 1996 — Аверинцев С. С. Античный риторический идеал и культура Возрождения // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996; 347–363
- Виноградов 1969 — Виноградов В. В. О новых исследованиях по истории русского литературного языка // Вопросы языкознания 1969. №2. С. 3–18.
- Виноградов 1982 — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII–XIX веков. М., 1982.
- Вомперский 1988 — Вомперский В. П. Риторики в России XVII–XVIII вв. М., 1988.
- Гаспаров 1996 — Гаспаров М. Л. Порядок слов «определение — определяемое» в стихах и прозе // Московский лингвистический журнал, 1996. № 2. С. 130–135.

- Гринберг 1970 — Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
- Живов 1985 — Живов В. М. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение. 1985. № 3. С. 70–85.
- Живов 1988 — Живов В. М. Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века. — Russian Linguistics. 1988. 12. С. 3–47.
- Живов 1996 — Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Ковтунова 1969 — Ковтунова И. П. Порядок слов в русском литературном языке XVII — начале XIX века. М., 1969.
- Лаптева 1959 — Лаптева О. А. Расположение одиночного древнерусского прилагательного // Славянское языкознание. М., 1959.
- Литвина 1993 — Литвина А. Ф. Славянская и неславянская норма: порядок слов в текстах XVIII века // Типологические и сопоставительные методы в славянском языкознании. М., 1993. С. 103–111.
- Ломоносов I–X — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. I–X. М.–Л., 1950–1959.
- Сорокин 1982 — Сорокин Ю. С. У истоков литературного языка нового типа (Перевод «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля) // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л., 1982. С. 52–85.
- Унбегаун 1971 — Унбегаун Б. О. Русский литературный язык: проблемы и задача его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971.
- Успенский 1985 — Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- Успенский и Шишkin 1990 — Успенский Б. А., Шишkin А. Б. Тредиаковский и янсенисты // Символ. Вып. 23. Париж, 1990. С. 105–264.
- Филин 1981 — Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.

# Оглавление

Предисловие .....	3
I.	
Б. М. Никольский. «О восьми частях слова»: проблема источников .....	9
П. Е. Лукин. Доктринальные источники «Сказания о письме- нах» Константина Философа Костенецкого .....	34
М. Г. Обижаева. Механизмы теоретической защиты литерату- рного языка в грамматических сочинениях Юрия Крижанича и Пьетро Бембо .....	52
Е. А. Кузьминова. Адаптация авторитетной югозападнорус- ской грамматики в Московской Руси XVII в. ....	59
II.	
И. В. Платонова. Риторика средневекового перевода (Геннадиевская Библия 1499 г. как первый опыт цер- ковнославянского грамматического перевода) .....	83
Н. Н. Запольская. «Простой» язык Библии Ф. Скорины и Псалтыри А. Фирсова: реконструкция механизма грамматического подобия .....	109
III.	
Н. Н. Запольская. «История Российской» В. Н. Татищева: грамматическая дистанция между «древним на- речием» и «новым наречием».....	131
Ю. В. Кагарлицкий, А. Ф. Литвина. По ту сторону грамматики: Нормы словорасположения в период формирования литературного языка нового типа.....	140

## **Reference**

The collection of articles "Evolution in Grammar Thought of Slavs (XIV–XVIII c.)" is devoted to the reconstruction of logic of changes in language consciousness and language behavior of Slavs taking place with time. The representative sources of this reconstruction are grammar writings, as far as they allow the stereoscopic vision of linguistic problems: one aspect is presented in grammar as self-estimation while the other is the result of putting the modern scientific "net" on the grammar materials. The problem consideration of grammar texts implies the use of the method of problem synthesis which includes checking up the material with the main structural functional questions. The revealed mechanism of production of grammar writings clarifies the content of language elements and the character of their organization, mainly determined by the Greek and Latin sources. In its turn, the established mechanisms of reception of grammar writings demonstrate the adaptation of grammars in different time and space and show the realization of grammar patterns in the texts of a high language and cultural value.

Научное издание  
**Эволюция грамматической мысли славян**  
**XIV–XVIII вв.**  
Сборник статей

Научный редактор  
кандидат филологических наук  
Н. Н. Запольская

Утверждено к печати Институтом славяноведения РАН

---

Подписано в печать с оригинал-макета 9. 4. 1999. Формат бумаги 60x90 1/16.  
Гарнитура Arial. Усл. печ л. 9,6. Тираж 200 экз. Заказ 75 .

Издательство ТОО "ПОМАТУР".  
Адрес издательства: 101430, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3.  
Лицензия ЛР №070058 от 26.07. 1996 г.  
Отпечатано на ризографе в типографии ООО «Флагман К»  
Адрес типографии: 101853, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 7.

### Замеченные опечатки

	Напечатано:	Следует читать:
стр. 4, 2-я снизу	проектах	проектов
стр. 54, 12-я снизу	1648	1619
стр. 56, 5-я сверху	Рукого	Руского
стр. 57, 10-я сверху	этого	этого
стр. 57, 13-12-я снизу	в течении двухста	в течение двухсот
стр. 111, в табл. всюду	-1	-1
стр. 136, 3-я снизу	на местахъ	на местехъ
стр. 140, 1-й абз., 4-я	их	из
стр. 143, 6-я сверху	характеризуются	характеризуется
стр. 144, 7-я снизу	преодоления	преодоление
стр. 148, 10-я сверху	случаем	случаев

